ОГОНЁК

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА», МОСКВА

№ 35 АВГУСТ 1988



СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО!

ПУБЛИЦИСТИКА И МИФОТВОРЧЕСТВО



ФОТОВЕРНИСАЖ ВИТАСА ЛУЦКУСА

ЧТО ОСТАВИМ ПОТОМКАМ?

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!





ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

Основан 1 апреля 1923 года

№ 35 (3188)

27 АВГУСТА — 3 СЕНТЯБРЯ

НА ПЕРВОЙ СТРАНИЦЕ ОБЛОЖКИ:

Убили рыбу, место преступления — Волга. (См. в номере материал «Мертвая вода»).
Фото Александра НАГРАЛЬЯНА

Оформление Е. М. КАЗАКОВА при участии Г. Г. БЛОЦКОЙ

ПОДПИСКА НА «ОГОНЕК» ПРИНИМАЕТСЯ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ ДО ПЕРВОГО ЧИСЛА ПРЕДПОДПИСНОГО МЕСЯЦА
Цена подписки на год — 20 руб. 76 коп., на полгода — 10 руб. 38 коп., на квартал — 5 руб. 19 коп.

Телефоны редакции: Секретариат — 212-23-27; Отделы: Публицистики — 212-21-88; Международный — 212-30-03; Литературы — 212-63-69; Искусства — 212-15-39; Морали и писем — 212-22-69; Фото — 212-20-19; Литературных приложений — 212-22-13, 212-23-07.

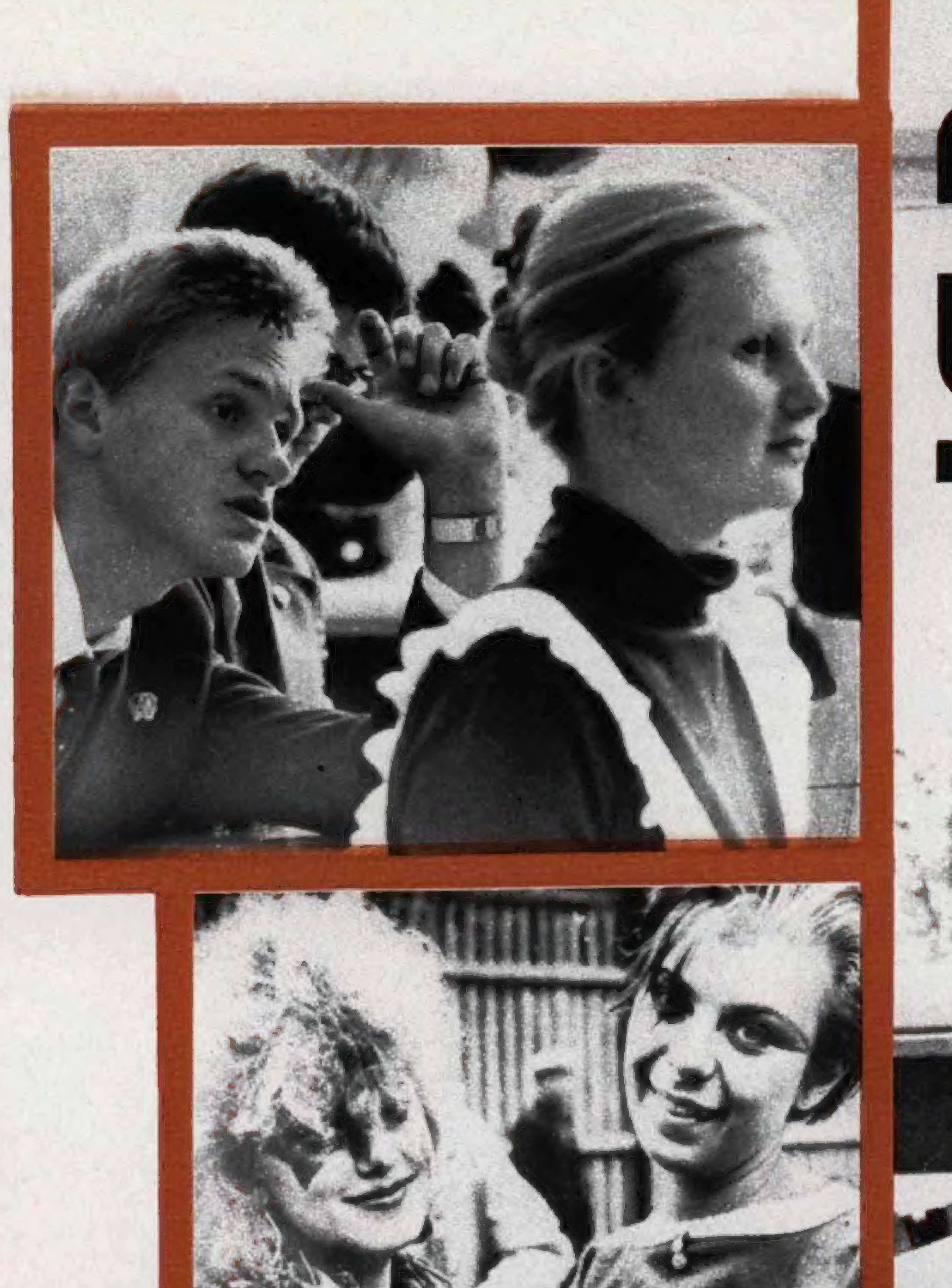
Телефакс (международный) (095) 943-00-70
Телетайп (внутрисоюзный) 112349 «Огонек»

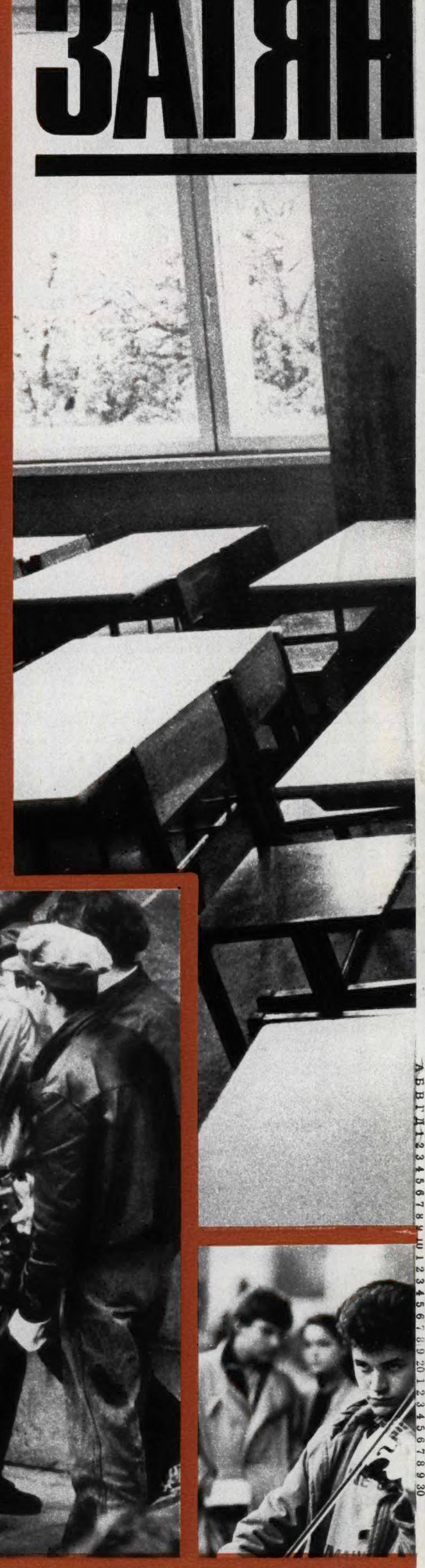
Рукописи объемом более двух авторских листов не рассматриваются.

Сдано в набор 08.08.88. Подписано к печати 23.08.88. А 10392. Формат 70 × 108⅛. Глубокая печать. Усл. печ. л. 7,0. Уч.-изд. л. 11,55. Усл. кр.-отт. 16,80. Тираж 1 800 000 экз. Заказ № 2801.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865, ГСП, Москва, А-137, улица «Правды», 24.

Адрес редакции: 101456, ГСП, Москва, Бумажный проезд, 14.





ЗАТЯН



УВШАЯСЯ ПЕРЕМЕНА



ПЕРЕСТРОЙКА ИДЕТ НЕ ТОЛЬКО В СИСТЕМЕ ШКОЛЫ, НО И В СОЗНАНИИ УЧИТЕЛЕЙ. ПРОИСХОДИТ ОБНОВЛЕНИЕ И ОЧИЩЕНИЕ ОБЩЕСТВА. У ДЕТЕЙ НА ФОНЕ ПРЕЖНЕГО НЕВЕРИЯ И БЕЗВЕРИЯ, НА ФОНЕ АПАТИИ ПОЯВЛЯЕТСЯ ИНТЕРЕС К ТОМУ, ЧТО ПРОИСХОДИЛО И ПРОИСХОДИТ. И, КАК СЛЕДСТВИЕ ЭТОГО ИНТЕРЕСА, ДОЛЖНА ВОЗНИКНУТЬ ПОТРЕБНОСТЬ АКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ДОЛЖНА ВОЗНИКНУТЬ ВЕРА В ТО, ЧТО ПРОЦЕССЫ, ПРОИСХОДЯЩИЕ В ОБЩЕСТВЕ, НЕОБРАТИМЫ. А С ЭТОЙ ВЕРОЙ ПРИДЕТ И ЖЕЛАНИЕ УЧИТЬСЯ, И УВЕРЕННОСТЬ В СВОИХ СИЛАХ, И СОЗНАНИЕ СОБСТВЕННОЙ НЕОБХОДИМОСТИ.

ДОЛЖНА ЛИ ПЕРЕСТРОЙКА ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОЙТИ ПО ПУТИ ТОЛЬКО ДЕМОКРАТИЗАЦИИ ЭТОЙ СИСТЕМЫ ИЛИ ЖЕ ОСНОВНОЙ АКЦЕНТ ДОЛЖЕН БЫТЬ СДЕЛАН НА САМОМ СОДЕРЖАНИИ ОБРАЗОВАНИЯ? ПОДВЕРГНЕТСЯ ЛИ КОРЕННЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ ШКОЛА, БУДЕТ ЛИ ЕЙ ПРЕДОСТАВЛЕНА ОПРЕДЕЛЕННАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ И АВТОНОМНОСТЬ? КАКОВА ДОЛЖНА БЫТЬ РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННЫХ КУЛЬТУРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РАЗРАБОТКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ШКОЛЬНОЙ РЕФОРМЫ? НА ЭТУ ТЕМУ БЕСЕДА С ЧЛЕНОМ-КОРРЕСПОНДЕНТОМ АПН СССР, ДОКТОРОМ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОРОМ ВЛАДИМИРОМ ПЕТРОВИЧЕМ ЗИНЧЕНКО.



— Владимир Петрович, современная молодежь очень разнообразна в своих проявлениях, существует масса неформальных объединений: «металлисты», «рокеры», «брейкеры» и прочие, которые, спотыкаясь, трудно ищут собственный путь. Готов ли учитель психологически к работе с такими подростками?

— Начнем с того, что учитель должен относиться с уважением не только к комсомольской организации, но и к тем, кто искренне ищет себя. Кстати, и комсомол должен понимать, что за молодых надо бороться. Снисходительное отношение к заблуждениям и искренним поискам не раз уже провоцировало появление иллюзорно-компенсаторных форм деятельности, кстати, «металлисты» и «рокеры» — это тоже иллюзорные формы деятельности, так называемая игра всерьез.

— И дети с гораздо большей охотой занимаются этой игрой, чем учебой. Учиться они не хотят по многим причинам, но основными являются, видимо, две: скучное, казарменное преподавание и то, что ценность образования у нас невелика. Наверно, демократизация школы и призвана решить эти проблемы?

— Мы сейчас много говорим о новом сознании, о новом мышлении. А что такое новое сознание в школе? Оно не должно быть авторитарным, не должно быть автократическим, оно не должно быть технократическим, но каким оно должно быть? Каким критериям оно должно отвечать? Сознание — вещь коварная, оно способно находить самые изощренные пути к саморазрушению. Посмотрите, какую изобретательность проявляет иной подросток при приобретении наркотиков, а ведь это деятельность, направленная на саморазрушение и в высшей степени сознательная. Порой, упрощая, мои ученики говорят о, так сказать, вселенских аналогиях... Гонка вооружений или экологические коллизии — это тоже деятельность, направленная на саморазрушение, на уничтожение культуры всего человечества.

Когда-то один мудрец сказал, что господь бог дал человеку два колена: одно, чтобы преклонить его перед учителем, второе, чтобы преклонить его перед врачом. Мы же, к несчастью, поставили перед собой на оба колена и учителя, и врача. Сейчас мы пытаемся поднять престиж этих профессий, но результаты скажутся еще не скоро.

У Гумилева есть прекрасные строки, имеющие самое прямое отношение к нам сегодняшним: «Только змеи сбрасывают кожи, чтоб душа старела и росла. Мы, увы, со змеями не схожи. Мы меняем души, не тела». Школа должна заложить в детях, с одной стороны, навыки учебной деятельности, с другой стороны — навыки самоусовершенствования, навыки самостоятельного духовного развития. Стремление молодежи к созданию своих форм культуры мы должны вдумчиво анализировать, а не бездумно запрещать.

Пусть эти формы для нас непривычны — есть так называемые краевые формы культуры, вспомним импрессионизм, он был краевой формой, потом он переместился в центр... Можем ли мы гарантировать, что ныне существующие краевые формы молодежной культуры не переместятся со временем в область привычного, традиционного?

— Но, может быть, для начала переместить эти формы молодежной культуры в школьное здание? Сделать школы молодежными клубами?

— Это было бы замечательно. Почему-то у нас именно «свято место» — школа — и пусто. Но для этого сначала надо повысить общий культурный уровень учителя, его психологическую компетентность и компетентность в детском развитии. Педагог — это талант, а (вспомним иронию мудреца) талант — как деньги: если он есть — он есть, но если его нет — его нет. Сейчас надо менять не только школу как систему, но и педагогические институты, которые готовят учителей для новой школы по старой программе. Ведь чудес не бывает: новые педагоги не возникнут в стенах старой педагогической школы.

На Украине лет двадцать — тридцать назад был такой обычай: не справился секретарь обкома со своей работой — его сразу назначают ректором педагогического института. Как будто ректором педагогического института может быть кто угодно. И психологию в наших вузах тоже часто преподает кто угодно. Когда в 1952 году я пришел в 593-ю московскую школу преподавать психологию, мне директор сказал: «Очень хорошо, что вы пришли, потому что сейчас у нас психологию преподает астроном». Я пожал плечами и ответил, что психология и астрономия — науки действительно достаточно туманные, но это еще не основание, чтобы их преподавал один человек.

— Судя по вашим словам, в 1952 году в школе еще работали учителя-мужчины, сегодня же одна из проблем заключается в том, что большинство преподавателей средней школы — женщины, хотя уже давно признано, что для подростка очень важен контакт с педагогом-мужчиной, что не исключает, понятно, заботливых женщин-учителей.

— Когда японцы увидели, что в системе образования дела у них обстоят не так уж гладко, они, чтобы привлечь именно мужчин к преподаванию в школе, освободили молодых людей, поступающих в педагогические институты, от службы в армии. И этот шаг оказался выгоден даже армии — подрастающее поколение стало менее инфантильным. Женское воспитание в школе плюс многие дети сейчас растут в так называемых неполных семьях — все это, безусловно, создает у подростка дефицит мужского общения, а отсюда и проблемы, решать которые в основном приходится милиции, которая, кстати, тоже не всегда педагогична. Учитель должен обладать определенными, пусть минимальными, навыками психотерапии. И здесь мужчины и женщины-учителя дополнят друг друга.

— А существуют ли какие-либо критерии, которые помогли бы осуществить отбор по профессиональным признакам при поступлении в педагогические вузы?

— Американские психологи разработали — для военных нужд — ряд тестов на агрессивность, но применяют их и при тестировании преподавателей школ. Так вот, по их данным (а у них не так уж все хорошо в области школьного образования), коэффициент агрессивности у некоторых учителей равен коэффициенту агрессивности летчиков-истребителей. Мне кажется, что проведение такого тестирования среди наших педагогов было бы полезно.

Недавно я был в США и встречался там с психологами, и профессор В. Лефевр поделился со мной результатами одного тестирования, проведенного среди коренных американцев и русских эмигрантов. Приведу только два вопроса: «Помог бы ты другу во время экзамена?» Сто процентов американцев ответили «нет», сто процентов русских — «конечно». На дополнительный вопрос: «Почему ты не помог бы другу?» — американцы отвечали: «Это его оскорбило бы, ведь он хочет стать специалистом». И второй вопрос: «Как бы вы отнеслись к тому, что человеку, совершившему преступление, увеличили срок наказания, чтобы другим было неповадно?» Американцы ответили: «Отрицательно, потому что все должно быть по закону» — русские: «Положительно, чтобы другим действительно было неповадно». Разница, как видите, впечатляющая. В школьные годы у ребенка формируется личность, и очень важно, чтобы эта личность оказалась способной судить и себя, и других по реальным делам и в соответствии с нравственными критериями. И формирование такой личности — главная задача учителя.

— При всем изобилии информации, которую получают наши дети, они, как это ни парадоксально, не знают собственной истории. Как, по-вашему, должна измениться школьная программа, чтобы дети перестали относиться к ней, как к мумифицированному трупу?

— Ну, я думаю, что нет необходимости преподавать первоклассникам сразу «Историю государства Российского», они все же должны сначала овладеть чтением, письмом, каким-то рукомеслом... А дополнительная информация вне школы, на мой взгляд — это прекрасно.

— «Историю» Карамзина вы считаете сложной для восприятия семилетнего ребенка... Но в дореволюционной России дети читали Священное Писание вместе со взрослыми с самого раннего возраста. Ведь Библия — культурное наследие всего человечества.

— Хорошо, но в скольких семьях в Москве вы найдете Библию? Это ведь существенная проблема. Кто сможет себе позволить купить ее за 50 рублей, даже если она будет продаваться в магазинах? А иллюстрированное издание стоит уже около двух сотен. Хотя знакомить детей с историей религии, формировать у них терпимость к вере, безусловно, надо, это входит в понятие нравственного и эстетического воспитания. Когда-то церквей было сорок сороков, а сейчас что осталось? Впрочем, из крайности в крайность тоже нельзя впадать: то не слыхали о Библии, то она в основе. Мы ведь не церковно-приходское заведение, и надо преподать многое, в том числе о нашей системе, о принципах ее функционирования и организации, о мире...

Когда я был в японской школе, заглянул в библиотеку, и мне показали альбомы по искусству (типа наших «образ и цвет»), но там я нашел все: от Джотто до Сезанна. Если ребенок заинтересовался Веласкесом или Леонардо, он может взять и посмотреть. А что у нас? У нас даже в музее Левитана в звенигородском районе висят вырезки репродукций из вашего «Огонька»!

— Мы постоянно говорим о недостатке средств у школы для осуществления тех преобразований, в которых она нуждается. Между тем уже сложилась практика, когда заводы, институты, министерства и другие организации строят и содержат дошкольные учреждения для детей своих сотрудников. Наверное, крупные заводы или же колхозы в сельской местности могли бы взять под свою опеку школы, находящиеся в непосредственной от них близости. Пусть при этом дети работников этих организаций пользуются правом преимущества при поступлении в такие школы.

— Мне это кажется реальным. Пусть государство обеспечивает школе некоторый минимум средств, и в дальнейшем этот минимум увеличивается за счет вклада завода или другого предприятия района, которые заинтересованы в получении образованного контингента рабочих. То же относится и к колхозам, которые сейчас не могут перечислить школе достаточного количества денег, хотя средства у них имеются. Это помогло бы, кстати, преобразовать сельскую школу, повысить зарплату учителям, а в конечном счете и сохранить деревню.

— То есть разделить с государством тяжесть расходов по перестройке школьного образования могут крупные организации, общественность. И тогда эти организации, а следовательно, и родители получат возможность в определенной степени влиять на саму школу, формировать ее «для себя», в соответствии с собственными запросами.

— Этот вариант мне кажется интересным. Тем более что один из проектов заключается в том, что государство (допустим, через Совет районных депутатов) выдает родителям ученика, поступающего в школу, нечто вроде предварительного аттестата или талона, в который входит «плата» за образование. С этим аттестатом ученик может пойти в любую школу, на основании таких аттестатов школа от райисполкома получает деньги и распоряжается ими уже сама. Кстати, как только появится свобода выбора у учащихся, это сразу заставит лучше работать прежде всего саму школу, так как она будет заинтересована в учениках. Если же ученик становится победителем олимпиады или какого-нибудь конкурса, то ему делается прибавка к аттестату, он как бы «дороже стоит».

Все родители хотят, чтобы их ребенок учился в хорошей школе. Мой сын, например, окончил 91-ю школу (которую Академия педагогических наук сейчас, к сожалению, уже разрушила), а не ту, что находится в 15 метрах от нашего дома. Конечно, при этом возникает проблема наличия мест в таких школах, потому что не только дети из других районов, но и не все желающие собственного района могут попасть именно в ту школу, в которую хотят.

— Но при таком подходе хорошая школа может быстро превратиться в элитарную. Кстати, очень часто в разговорах происходит отождествление понятия «спецшкола» с понятием «элитарная школа».

— Безусловно, 91-я школа элитарная, но элитарная в том смысле слова, в каком Чарльз Сноу в свое время писал о науке, что она должна быть эли-

тарной, потому что если наука не будет элитарной, то не будет науки. Школа должна быть элитарной в области духовной: по свободе мысли, по своей автономности, независимости. И спецшколы, конечно же, нужны — математические, физические, с иностранным языком. Но сейчас, мне кажется, в большей степени надо развивать школы гуманитарного профиля. Дефицит гуманитарной культуры очень серьезно сказывается на всей нашей жизни. Мне думается, что нет смысла цепляться к слову «элитарные», школы должны быть специализированные.

— Однако не так давно прокатилась волна слухов, и совсем небезосновательная, что все спецшколы будут закрыты, потому что само понятие «спецшкола» уже несет в себе некоторое социальное неравенство, а наши дети должны быть не только равноправны, но и равны.

— Я думаю, это связано с тем, что сложилась ситуация, когда существование элитарных — в худшем смысле — школ стало вызывать не только раздражение, но и просто неприятие у населения. Элитарными эти школы были (и, видимо, есть) не по методам преподавания, не по системе взаимоотношений учащихся и учителей, а по индексу социальной и материальной обеспеченности родителей. К сожалению, в разряд элитарных школ попали все специализированные школы. Я думаю, что это просто недоразумение. Хотя наряду со специализированными школами могут существовать и общеобразовательные или специализация может начинаться не с первого класса — все должны получить какой-то общегарантированный минимум образования.

— А что такое «минимум»? Как он определяется и кем устанавливается? Какой минимум знаний необходим человеку на рубеже второго и третьего тысячелетий?

— Я бы шел к определению минимума не от количества знаний, а от количества умений, которое школьник должен получить. К этим умственным умениям — писать, считать, работать с текстом — я бы добавил работу с предметами, не с учебными предметами, а с реальностью. Можно назвать это трудовым или эстетическим воспитанием, с ним тесно связано нравственное воспитание. Все наши дети должны быть культурными людьми. А что такое культура? Пастернак, в частности, называл культуру производительным существованием. Конечно, под производительным существованием он подразумевал и наличие духовности. А Павел Флоренский — крупнейший религиозный и научный авторитет начала века — определял культуру как среду, растящую и питающую личность, или как язык, объединяющий человечество. Формулировка очень торжественная, но основы этого языка школьник должен получить.

— Если я вас правильно поняла, то основы этого «языка, объединяющего человечество», вы до известной степени отождествляете с общеобразовательным минимумом новой школы. Как вам кажется, с какого года обучения целесообразно вводить специализированные курсы в школьную программу?

— Собственно, специализация может и в идеале должна начинаться в детском саду. Если у ребенка обнаружен талант к музыке или математике, то почему бы не попробовать специализировать его образование с самого раннего возраста? Кстати, сейчас ЦК ВЛКСМ берет на себя эту заботу и даже собирается открыть исследовательский центр по ранней диагностике талантов.

— Я знаю, что при обсуждении возможных путей развития школы большая дискуссия разгорелась вокруг так называемых авторских школ. Существует также идея кооперативной школы. Что вы можете сказать по поводу таких форм школьного образования?

— Когда меня лет десять назад спрашивали, почему я отдал своего сына в 91-ю школу, я обычно отвечал в шутку, что там учителя получают зарплату на 25 процентов больше, и если при этом они хотя бы на 15 процентов будут больше любить детей,— это уже достаточно. Что касается авторской школы, важно, чтобы во главе такой школы стоял увлеченный и любящий детей человек; и не просто человек, но талантливый педагог. В целом же авторская школа — очень привлекательная вещь. Но ведь сейчас у нас нет критериев оценки таких школ. Право на авторские школы заработали Амонашвили, Щетинин, Шаталов, Лысенкова — и это далось им великим трудом.

— Школьная перестройка должна коснуться всех школ, в том числе и региональных. Очевидно, что школа в Москве должна отличаться от школы в Туркмении или в Прибалтике. Но существующая школьная программа обязует их быть максимально схожими вопреки всем явным различиям: национальным, климатическим, территориальным. Унифицированная школьная программа слабо учитывает национальную специфику.

— Мне кажется, что разработку программ для региональных школ было бы целесообразно предоставить национальным культурным центрам, чтобы она не была навязана школам, а соответствовала и образу жизни, и культурному наследию народа.

Пока же получается просто по Пруткову: когда существует одна газета, а все из нее перепечатывают. Без национальной школы мы лишим наши республики национальной культуры.

— И тем острее стоят сейчас проблемы, связанные с интернациональным воспитанием. Не получим ли мы при такой перестройке школы обратной реакции?

— Здесь все зависит от самих людей. Если безнравственный человек занят национальным воспитанием детей — тут уж никуда не денешься: он будет насаждать и воспитывать национальную рознь. Но интернациональное воспитание не должно быть на уровне слов. От того, что мы выучим фразу «все люди — братья», мы братьями не станем. Должен идти естественный процесс взаимодействия в республиках. Чем больше республика получит самостоятельности, автономии, возможностей развивать национальную культуру, тем с большим интересом она будет относиться к другим культурам, в том числе и к русской культуре. Потому что, если (допустим) у русского человека не было бы своей культуры, то откуда у него могли бы возникнуть уважение и интерес к культуре французской? Мы сейчас говорим об общечеловеческих ценностях. Слишком часто слова «классовость» и «классовая борьба» использовались в спекулятивных целях (наконец мы перешагнули через этот порог). И на базе именно общечеловеческих ценностей надо воспитывать детей, формировать их сознание с самого раннего возраста. А в истоках всех общечеловеческих ценностей лежит национальная культура.

— Что мы ставим конечной целью школьной реформы? Хотим ли мы дать нашим детям образование, развить их духовные способности или же мы хотим их максимально социализировать?

— Мне кажется, что школьное образование должно быть в равной степени направлено и на социализацию, и на развитие индивидуальности ребенка. Пора нам менять взгляды на соотношение коллектива и личности. Был период в истории нашего общества, когда мы всячески утверждали тезис: личность — продукт коллектива. Это не так. Личность — основа коллектива. И далеко не все вопросы могут решаться большинством голосов. Активная деятельность ребенка подавляется сначала в детском саду, потом — в школе, а именно эта деятельность — то ценное, что надо сохранять. Школьное обучение должно быть диалогичным. Ученик имеет право на свою точку зрения. Известны два японских принципа обучения — «учить, обсуждая» и «учить, убеждая», а не учить, заметьте, заставляя.

Мы ведь практически исчерпали все свои ресурсы. Единственный ресурс, который неисчерпаем,— это ресурс интеллектуальный. Но и его мы довели бог знает до чего! Необходимо срочно создавать условия для восстановления интеллектуальных ресурсов, пора перестать относиться к ним по-варварски, к чему приводит такое отношение — нам наглядно демонстрируют столь остро стоящие сейчас экологические проблемы. Нам необходимо преодолевать технократические тенденции в мышлении, особенно когда это касается педагогики. «Музыку я разъял как труп» — Сальери — удивительный пример такого технократического мышления.

Мы все время рассчитываем на какое-то чудо: мол, благодаря техническому прогрессу мы сразу получим все. Хотя очевидно, что разом все не бывает. Процесс обновления нашей школы, несмотря на всю декларируемую революционность, тоже должен носить естественноисторический характер.

— То есть вы считаете, что перестройка может идти только на основе старой школы, ломать старую школу нельзя? Хотя, я знаю, существует мнение, что современная школа к перестройке неспособна, что она настолько заформализована и консервативна по своей сути, что какие-либо изменения в ее структуре кажутся маловероятными. Отсюда делается вывод, что новая школа должна возникнуть отдельно и существовать самостоятельно, а не планироваться как этап эволюции старой школы.

— Мы, конечно, можем сломать все существующие структуры сразу, но что мы будем делать дальше? Не получим ли мы в результате то же самое? Известно, что новое — хорошо забытое старое. В двадцатые годы была создана замечательная программа перестройки школы, в ней принимали участие Луначарский, Крупская, с ней был знаком Ленин, кстати, недавно журнал «Коммунист» опубликовал материалы по этому вопросу. Но тогда перестройка школы не была осуществлена. Хотя в целом ряде стран при построении новой школы были использованы принципы, заложенные в той нашей программе. Если я не ошибаюсь, в Японии ряд положений из той программы даже вошел в конституцию.

— Как вы считаете, через какое время мы сможем ощутить хоть какие-то результаты школьной перестройки?

— Я думаю, что некоторые результаты мы сможем оценить уже в ближайшие годы, по крайней мере — я на это надеюсь. Перестройка идет не только в системе школы, но и в сознании учителей. Происходит обновление и очищение общества. У детей на фоне прежнего неверия и безверия, на фоне апатии появляется интерес к тому, что происходило и происходит. И, как следствие этого интереса, должна возникнуть потребность активной деятельности, должна возникнуть вера в то, что процессы, происходящие в обществе, необратимы. А с этой верой придет и желание учиться, и уверенность в своих силах, и сознание собственной необходимости.

Беседу вела Марина КАТЫС

Фото Сергея ПЕТРУХИНА, Юрия ПЕТШАКОВСКОГО, Николая СТЕПАНЕНКОВА, Юрия ФЕКЛИСТОВА

ПРОШУ СЛОВА

НУЖНЫ И ФРЕЙД, И ЛУНАЧАРСКИЙ

Раньше я иногда заглядывал в «Огонек». Теперь журнал читаю постоянно. Ваши публикации захватывают меня — от читательских писем и изображения истории, попыток решения современных проблем экономики, политики до воинствующих статей о литературе.

Недавно Вы опубликовали два письма, по которым я могу дать существенную справку.

А. Знотиньш из Риги жаловался (в «Огоньке» № 18, 1988), что журнал ГДР «Мелодия и Ритм», розничная цена на который в ГДР составляет неизменно 1,25 марки, в киосках «Союзпечати» в течение 1980, 1983, 1985 гг. повышался в цене с 24 коп. до 40, 60 коп., а сегодня стоит 80 коп. Он спрашивает о причинах. Надо полагать, это связано с тем, что между лейпцигским внешнеторговым предприятием «БУХЭКСПОРТ» и «МЕЖДУНАРОДНОЙ КНИГОЙ» было заключено соглашение об уменьшении взаимных скидок, так называемых скидок с цен. Будет ли — если да, то насколько — изменена цена для покупателей, является внутренним делом каждого партнера.

В «Огоньке» № 17, 1988 г., Е. М. Захаров из Омска ратует за то, чтобы была снята немилость с произведений Зигмунда Фрейда. В этой связи ваших читателей, возможно, заинтересует, что мы в ГДР в течение 80-х годов приобрели хороший опыт в издании трудов Зигмунда Фрейда нашими издательствами. Так, в 1984 году в лейпцигском издательстве «Филипп Реклам Юниор» вышли избранные сочинения Фрейда под названием «Психоанализ», а в 1985-м в издательстве «Густав Кинenхойер» вышел сборник его произведений. Буквально только что, в 1988 году, издательство «Фольк унд Вельт» под названием «Зигмунд Фрейд. Эссе» опубликовало, составленное Дитрихом Симоном и основательно прокомментированное, трехтомное издание. Сообщенные Е. М. Захаровым соображения подтверждаются нашей практикой. Повод к публикациям Фрейда в ГДР, кстати, дал писатель Франц Фюман. По его инициативе вышло первое у нас избранное, и тоже в издательстве «Фольк унд Вельт».

Пользуясь возможностью, считаю необходимым поставить в известность представителей читательских кругов «Огонька» о том, что различные произведения Анатолия Луначарского с течением лет вышли в ГДР, частично даже с переизданием. Этот факт даже несколько месяцев тому назад не был известен дочери Луначарского. Для нашего же знакомства с практикой советской культурной политики чтение работ Луначарского было и остается весьма важным.

КЛАУС ХЁПКЕ,
заместитель министра культуры ГДР
Берлин



КОЛЛЕКТИВ ОСТАЛСЯ БЕЗ ЖУРНАЛА... ●
ПРЕССА ПОД ПРЕССОМ? ●
НЕВЕЖЕСТВО — БЕЗ ЛИМИТА ●
ХУЖЕ, ЧЕМ ПРИ «ЗАСТОЕ» ●

В РЕДАКЦИЮ ПРОДОЛЖАЮТ ПОСТУПАТЬ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ПИСЬМА И ТЕЛЕГРАММЫ ЧИТАТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ НЕГОДУЮТ В СВЯЗИ С ВВЕДЕНИЕМ ОГРАНИЧЕНИЙ НА ПОДПИСКУ ПОПУЛЯРНЫХ ЖУРНАЛОВ И ГАЗЕТ.

В СВЯЗИ С ЭТИМ МЫ РЕШИЛИ НАШ ТРАДИЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ «СЛОВО ЧИТАТЕЛЯ» ПОСВЯТИТЬ ЭТОЙ ВОЛНУЮЩЕЙ ВСЕХ ПРОБЛЕМЕ.

■

Нелепости развития нашей плановой экономики просто уму непостижимы. Вот две цифры, взятые из еженедельника «Аргументы и факты» (№ 27, 1988). Тракторов мы производим почти в 6,5 раза больше, чем в США, зато бумаги — более чем в 5 раз меньше (19 проц. от их уровня). Казалось бы, между этими цифрами нет связи. На самом деле она существует. И самая непосредственная. Ведь что такое острая нехватка бумаги? Невежество. А что могло породить чудовищную армаду плохих тракторов? Только невежество.

Отказавшись было от лимитирования периодических изданий, мы снова к нему вернулись в самый, может быть, ответственный момент перестройки. Не позор ли это — лимитировать духовные потребности народа?

Нужны срочные меры. Бумага нам крайне необходима, чтобы как можно быстрее ликвидировать опасное для нашего развития, для судеб всего социализма невежество, чтобы просто встать вровень с цивилизованными странами Запада. И хлеба у нас вдосталь не будет, пока мы не поймем, что наряду с внедрением арендного подряда нужно изжить невежество. Ведь социализм, по определению Ленина,— это строй ***цивилизованных*** *кооператоров. Хлеб же цивилизации — бумага.*

В. Мазурин.
Иваново

■

Серия интервью, появившихся в газетах за несколько дней до 1 августа, должна была подготовить общественное мнение к тому, чтобы население смогло стойко выдержать «репрессии» на большинство полюбившихся ему изданий и при этом не затаило ни на кого обиды. Люди замерли в тоскливом ожидании и поспешили с ночи занять очередь на подписку, чтобы, оказавшись в первых рядах... Действительность превзошла все самые тревожные предчувствия и разрушила несмелые надежды. Вспомнилась XIX партконференция, нападки на прессу, прозвучавшие в выступлениях некоторых делегатов. Тогда им был дан отпор, появилась резолюция «О гласности», которая затрудняет попытки дискредитировать прессу, бросать тень на ее право освещать приятные, не очень и совсем неприятные события и явления нашего прошлого и настоящего.

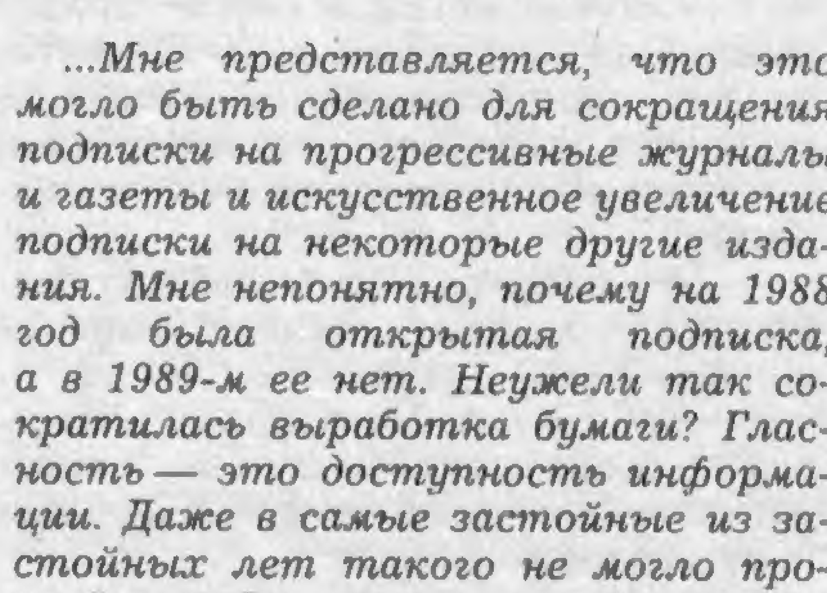
Но противники перестройки не успокоились. И теперь, умудренные богатым бюрократическим опытом, проводят новую, хорошо выверенную акцию. Не сомневаюсь, что сложившейся ситуации найдется много объяснений. Пойдут в ход доводы о нехватке бумаги и слабости полиграфической базы, легенды о том, что в нашей стране на душу населения приходится больше всего печатной продукции, могут в свое оправдание припомнить, что, например, в Финляндии из одного кубометра леса производят в несколько раз больше бумаги, а в Японии научились из макулатуры получать бумагу лучшего качества, чем используемое для этих целей сырье. Конечно, придется упомянуть и межведомственные противоречия, мешающие выработать общую линию на решение проблемы. Более того, виноватыми сделают самих подписчиков, которые не удосужились сделать подписку до 1 августа. Причин найдется много, но тем более коварен нанесенный интересам населения удар, когда даже не знаешь, кому предъявить претензии — то ли «Союзпечати», то ли работникам целлюлозно-бумажной промышленности, то ли партийному аппарату (может быть, в высших эшелонах, а может быть, и в низовых звеньях), то ли еще кому-то.

Несомненно одно. Единственным механизмом гарантии необратимости перестройки является гласность, наиболее эффективным средством которой является периодическая печать. И вот периодической печати наносится сокрушительный удар, закрывающий возможность широкого доступа информации к населению, у которого это не может не вызвать естественного протеста.

Несомненно и другое. Нельзя допустить такого вольного манипулирования с тиражами периодических изданий. Противники гласности не должны праздновать свой успех, который открывает перед ними новые рубежи для наступления на перестройку. Ситуация с тиражами действительно сложная. Но ее надо решать.

А. Я. Зырянов, коммунист, социолог.
Киев

■



...Мне представляется, что это могло быть сделано для сокращения подписки на прогрессивные журналы и газеты и искусственное увеличение подписки на некоторые другие издания. Мне непонятно, почему на 1988 год была открытая подписка, а в 1989-м ее нет. Неужели так сократилась выработка бумаги? Гласность — это доступность информации. Даже в самые застойные из застойных лет такого не могло произойти. Ситуация с подпиской — это одна из главных тем разговора во всех слоях нашего общества.

Д. С. Лихачев,
академик.

■

У нас не было опыта народного референдума. Подписная кампания в этом году превратилась в подлинный всенародный референдум. Подписка оказалась чем-то вроде избирательного бюллетеня: граждане хотят проголосовать за гласность и перестройку. Но сложилась парадоксальная ситуация — нам не дают этого сделать. Положение кризисное. Если государство в условиях запущенной экономики отказывается от многомиллионного кредита (в форме подписки), значит, эта проблема становится не экономической, а политической и решать ее надо политическими методами. Мы многие годы вынуждены были покупать хлеб за границей, но не менее важен «хлеб» перестройки — бумага. Предлагаю создать фонд для срочного приобретения бумаги в других странах.

Т. Гоголева.
Ленинград

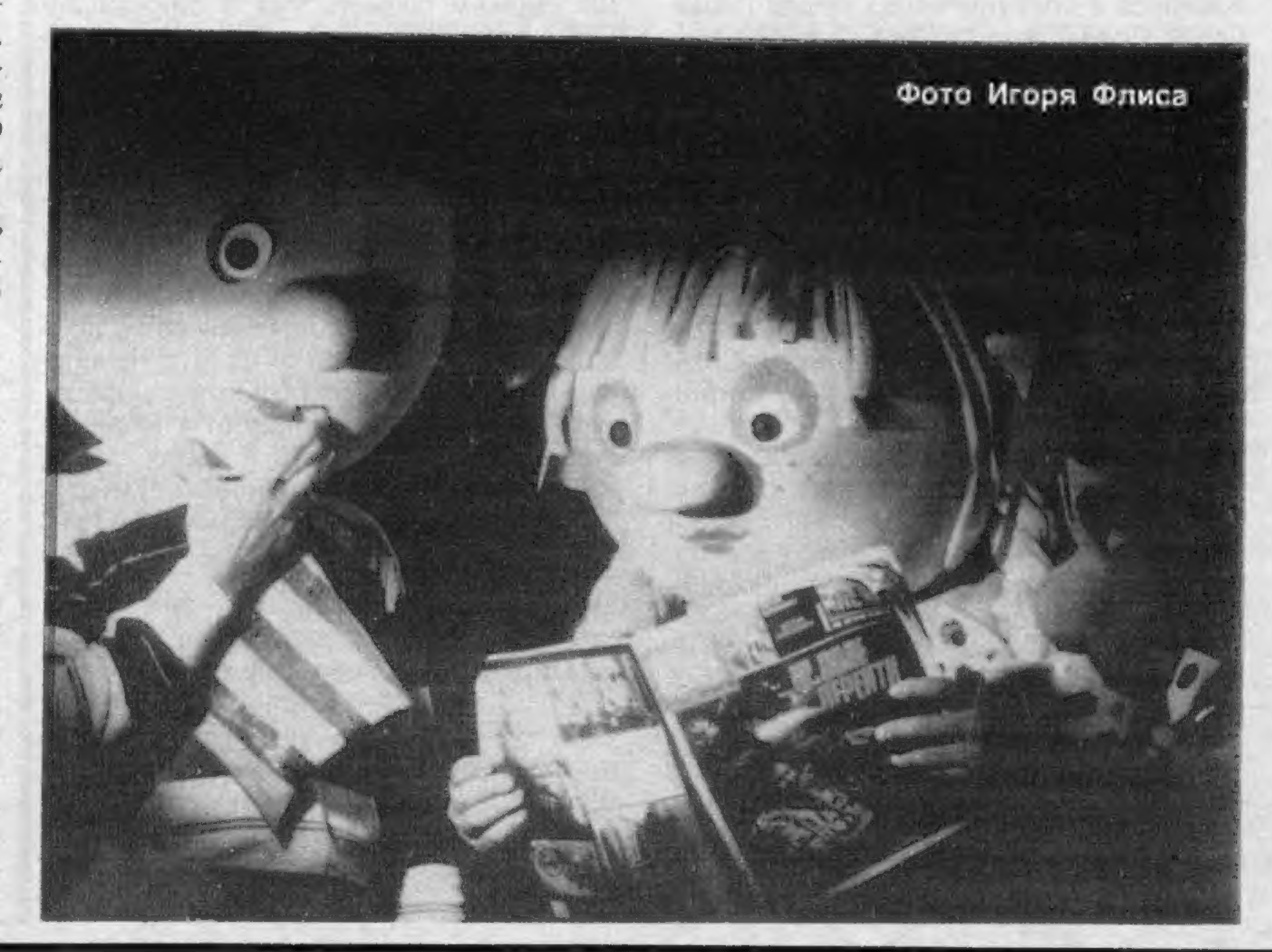


Фото Игоря Флиса

ТЕЛЕГРАММЫ В РЕДАКЦИЮ

НЕ ДАЙТЕ БЮРОКРАТАМ ЗАДУШИТЬ ГЛАСНОСТЬ ПРОСИМ КАЖДОМ БЛИЖАЙШЕМ НОМЕРЕ СООБЩАТЬ РЕЗУЛЬТАТАХ БОРЬБЫ ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ ПОДПИСКИ НА ОГОНЕК ПОДДЕРЖИВАЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЕ О СРОЧНОМ СБОРЕ МАКУЛАТУРЫ НА УВЕЛИЧЕНИЕ ПОДПИСКИ НА КОЛЛЕКТИВ НАШЕГО ИНСТИТУТА ВИНИТИ НА 2500 ЧЕЛОВЕК ВЫДЕЛИЛИ ВСЕГО 25 ЭКЗЕМПЛЯРОВ ОГОНЬКА-СОТРУДНИКИ ВИНИТИ

НЕ МЫСЛИМ ЖИЗНЬ БЕЗ ОГОНЬКА КАК БЫТЬ-УЧАСТНИК ВОЙНЫ ИНВАЛИД ЧЕРЕМОВСКИЙ ВЕТЕРАН ТРУДА СЛАВНИЦКАЯ

ПОТРЯСЕНЫ УБИЙСТВОМ ГЛАСНОСТИ НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ ПОДПИСАТЬСЯ ОГОНЕК БЕЗ КОТОРОГО ТЕПЕРЬ НЕ МЫСЛИМ СУЩЕСТВОВАНИЕ ПРОСИМ ПОМОЩИ-КОНОВИЦКАЯ ВОЛКОВЫ (МОСКВА)

ВОЗМУЩЕНЫ АНТИПЕРЕСТРОЕЧНОЙ ПОЗИЦИЕЙ МИНИСТЕРСТВА СВЯЗИ РЕЗКО СУЗИВШЕЙ КРУГ ЧИТАТЕЛЕЙ ЖУРНАЛА ОГОНЕК-СЕМЬЯ ВИТМАН (МОСКВА)

В НАХОДКЕ ВВЕДЕНА КВОТА НА 187 РАБОТАЮЩИХ ОДИН ЖУРНАЛ ПРОСИМ РАЗОБРАТЬСЯ И ПОМОЧЬ-ТРУБИЛИНА (НАХОДКА, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ)

НАРОД ПОЛВЕКА ЖДАЛ ДЕМОКРАТИИ ГЛАСНОСТИ НО СОКРАТИЛИ ЛИМИТИРОВАЛИ ПОДПИСКИ НА ТОЛСТЫЕ ЖУРНАЛЫ-ЗЕЛЕНАЯ М. И.

ЖИТЕЛЯМ КРАСНОЯРСКА ОТКАЗАНО ПОДПИСКЕ ЖУРНАЛ ОГОНЕК ПРОТЕСТУЕМ ПРОТИВ ПРОИЗВОЛА ВРАГОВ ПЕРЕСТРОЙКИ-БОРОВЕНКО (КРАСНОЯРСК)

ВЫПИСЫВАЮ ОГОНЕК 40 ЛЕТ ВТОРОГО АВГУСТА СВЕРДЛОВСК ПОДПИСКУ ЗАКРЫЛ ЧТО ДЕЛАТЬ-ВЕТЕРАН ТРУДА УЧИТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ ПОЛУХИНА

СРОЧНО ПОМОГИТЕ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА 1989 ГОД ПЕДАГОГАМ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ-АРЧЕНКОВА ГЛИЦУК КАПЫШКИНА КОНДРАТЕНКО (ЭССР СИЛЛАМЯЭ)

КОЛЛЕКТИВ МИНЛЕГПРОМА УССР НАСЧИТЫВАЮЩИЙ БОЛЕЕ 1100 ЧЕЛОВЕК ЛИШЕН ВОЗМОЖНОСТИ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА ОГОНЕК НАМ НЕ ВЫДЕЛЕНО НИ ОДНОЙ ЕДИНИЦЫ-СЕКРЕТАРЬ ПАРТКОМА ТОЛКАЧЕВ

ЭКИПАЖ КРУГЛОГОДИЧНО РАБОТАЕТ В АРКТИКЕ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ РАДИОГРАММОЙ 16 АВГУСТА МУРМАНСКОЕ ПАРОХОДСТВО ИЗВЕСТИЛО ЗАКРЫТА ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛЫ ЗНАМЯ ОГОНЕК ДРУЖБА НАРОДОВ НОВЫЙ МИР И ЕЩЕ РЯД ИЗДАНИЙ ФАКТИЧЕСКИ ЧЛЕНЫ ЭКИПАЖА ЛИШЕНЫ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПОДПИСКИ НАДЕЕМСЯ НА ПОМОЩЬ ЖДУ ОТВЕТА-ТАМАРА ЗОЛОТУХИНА КОРРЕСПОНДЕНТ АТОМОХОД РОССИЯ

ЧАСТУШКА ДЛЯ БЮРОКРАТА

Запевала:
Если срезана подписка,
То и гласность тоньше писка!
Хор:
На того, кто нас клеймит,
Налагается лимит!

Валентин Берестов, поэт

ИНТЕРВЬЮ «ОГОНЬКА»

ТАК ЧТО ЖЕ С ПОДПИСКОЙ?

Заместитель министра связи СССР Евгений Алексеевич МАНЯКИН отвечает на вопросы корреспондентов «Огонька» Владимира Вигилянского и Сергея Клямкина.

Е. М. Сразу хочу подчеркнуть: моя задача на любой пресс-конференции, на любом форуме выступать с позиции защиты подписчиков. Чем резче буду я выступать в защиту подписчиков, тем больше подписчик будет верить, что я на его стороне, что я вместе с ним. Я это говорю не из конъюнктурных соображений и не из желания подделаться, подружиться с подписчиком, а моя задача такая — удовлетворение спроса. И как любая торговая организация требует у промышленности, чтобы нужный ей товар был, так и Министерство связи.

КОРР. Но «товар» этот ныне как никогда жестко лимитирован! Причем многие письма и звонки в редакцию посвящены тому, что люди видят в лимите на подписку определенную программу борьбы с гласностью. Мол, письмо Нины Андреевой, опубликованное в «Советской России»,— это теория, а ограничение подписки — это практика. Многие считают, что лимит на прессу — это удар по перестройке и демократии, связывают его с антиперестроечными силами...

Е. М. И часть журналистов поверила в это и стала кричать: «Ату, ребята, бейте антиперестроечников, бумага есть, ее прячут от нас!» Печально, что мы не можем перестроиться посреди пятилетки. Произошел скачок читательского интереса к прессе, а развитие бумажной промышленности идет по тому плану, который утвердили еще в прошлую пятилетку. Не умеем мы в экономике перестраиваться. Но сказать, что это политика против перестройки!.. Ваша, журналистов, задача не разжигать эти страсти, а вскрыть пусть горькую, но правду. Конечно, бумага — это духовный наш хлеб, а мы сегодня оказались с ней в луже. Я сегодня участвовал в «Круглом столе» на телевидении и был удивлен, что из пятилетки в пятилетку капитальные вложения в эту отрасль все уменьшались.

КОРР. Значит, этот кризис можно было предвидеть? Почему же вы не предупредили подписчиков о складывающейся ситуации? К тому же в ваших действиях ощущается явная непоследовательность: в прошлом году вы официально объявили, что уже с 1 января можно будет свободно подписаться на периодику. На чем это решение базировалось?

Е. М. Базировалось на мнении издательств. Мы тогда обратились во все наши уважаемые инстанции. Решение о свободной подписке мы не с потолка, конечно, взяли. Вы же понимаете, что дело распространения печати — это не только дело Министерства связи, это дело идеологическое, это дело политическое.

Но инициатором, закоперщиком свободной подписки были мы. Нам кое-кто сегодня даже в укор ставит: зачем же вы так широко размахнулись! Но тогда нам подтвердили, что такой подход правильный и следует именно этот курс держать,— в расчете на то, что бумажная промышленность удовлетворит наши требования. Наверное, они не так представляли масштабы экологической борьбы... Как видите, это не просто наша фантазия, которую мы выбрасываем как флаг, а потом за ним прячемся.

КОРР. Но ведь в начале нынешнего года вы уже представляли реальную ситуацию. И тем не менее люди были в неведении о масштабах предстоящих ограничений в подписке. Стоит ли удивляться, что многие увидели в этом акт политический. Согласитесь, только что прошла партконференция, в некоторых выступлениях пресса подверглась резким нападкам. В то же время на конференции была принята резолюция «О гласности». И вот такой удар — приказ № 315 от 20 июля! Вы только что говорили о политическом значении распространения печати — неужели трудно было предвидеть политические последствия принятого решения? Когда и как составлялся этот приказ?

Е. М. Наступил момент, когда надо издавать приказ, а идет конференция, руководство занято, не с кем посоветоваться. Потом я 21 день был в Ереване. Здесь находились другие люди. Приказ мы издали, впервые в жизни не дожидаясь решения высокого руководства. Решение, кстати, вышло только 28 июля — почти накануне начала подписки. Приехал из командировки, а мне говорят: «Мы, наверное, положим партбилет». Я: «За что вы его положите? Вы положите партбилет, если не откроете подписку с 1 августа». Поэтому приказ издан заранее. Мы уже знали, что бумаги нет. Недавно меня кто-то даже в лоб спросил, нет ли установок ваш журнал немножко поприжать, дать ему меньше тираж,— щелкнуть по носу «Огоньку» за слишком смелые выступления, за новую тематику и т. д. Я говорю: «Нет». Я даю вам честное партийное слово. Хотите руку на отсечение дам? Это не государственная политика...

КОРР. К нам поступают сообщения о беспорядках, которые происходят в отделениях связи. Люди возмущаются...

Е. М. Вдумайтесь в такую ситуацию. В 1985 году 53 журнала находились в лимите. А в 1988 году — всего 4. Но бумага росла на 1—2 процента в год. А что у нас получилось с подпиской, когда гласность пошла, перестройка пошла? В 1987 году рост тиражей составил в среднем 5,1 процента, в 1988-м — 4,2 процента. А бумага — 1—2 процента. Разрыв все время увеличивался. А как же тогда получалось, что дело вроде улучшалось: было лимитировано 53 журнала, стало — 4? Дело в том, что мы сузили круг розничной продажи. Сегодня степень удовлетворения в рознице газет — 50 процентов, журналов — 35 процентов. Понимаете? Мы превратили газетные киоски в галантерейные лавки. За счет розницы мы выкарабкивались с подпиской.

КОРР. Такова была политика Министерства связи?

Е. М. Это политика, но не Министерства связи. Нас толкали на это, чтобы уйти от массовых жалоб при подписке... И второе — мы стали съедать ведомственную подписку. Ведь дошло до того, что в библиотеках не стало журналов! По ведомственной подписке «Огонек» разошелся в количестве 92 тысяч. А библиотек в стране 326 тысяч, из них массовых — 145 тысяч. Даже по одному экземпляру не хватило для них. Как вы считаете — мы должны соблюсти приоритет коллективного читателя перед индивидуальным? Я считаю — да! А мы тогда получили настоятельную просьбу о том, чтобы сократить ведомственную подписку...

КОРР. От кого?

Е. М. Ну, я так назову: это те организации, которые ближе стоят к определению тиражной политики. И нам записали в приказ прошлого года: сократить на 25—30 процентов ведомственную подписку. Пострадали коллективные библиотеки, НИИ...

КОРР. Но ответственность лежит на вас, поскольку приказ подписан Министерством связи...

Е. М. Кто стоит перед лицом клиентуры, тот и отвечает. Но нам говорили примерно так: «Понимайте высшую цель и держите удар, как боксер. Мы вас с работы не снимем». Но тогда еще можно было держать удар, потому что мы в одном месте ухудшали, в другом — улучшали. А сегодня мы вообще очутились один на один со всеми, ведь все залимитировано — не только 42 издания, обозначенные в приказе, ведь надо всю подписку в стране провести так, чтобы 10 тысяч наименований газет и журналов остались на уровне прошлого года! Единственно 3 газеты и 5 журналов имеют свободную подписку, и если тираж их вырастет — на них хватит бумаги... Однако тиражной политикой Министерство связи не занимается и не определяет, какому журналу сколько быть. Мы, например, приходим и говорим: «Нам надо «Огонька» не 1780 тысяч, а в три раза больше». А нам говорят: «Нет». Поскольку бумаги не хватает. Доставать эту бумагу — функция издательства. Я бумагу не достаю и не знаю, сколько ее там производят... Ну, я, конечно, интересуюсь — я не в вакууме нахожусь. Но иногда меня ставят в такое положение: «Где вы были раньше, почему вы не достали бумагу?» Ответственность должна быть разделена. Каждый отвечает за свое. Вот если безобразия творятся с распространением печати — например, подписка по начальству расходится и не доходит до рабочего класса,— за это должен нести ответственность я с теми коллективами, которые занимаются распространением печати.

КОРР. Как свидетельствует редакционная почта, изданные министерством приказы трактуются по-разному. В приказе о подписке за прошлый год есть пункт о подписных льготах в районах Урала, Сибири, Дальнего Востока, Крайнего Севера, в сельской местности, морякам и рыбакам дальнего плавания, загранработникам, учителям и т. д. В новом приказе этот пункт отсутствует.

Е. М. Но никто этого пункта не отменял.

КОРР. Однако нам пишут, что не подписывают в селах, в городах Сибири, Дальнего Востока, преподавателей, моряков...

Е. М. Все это говорит о грубейших нарушениях инструкций. Всем этим районам и профессиям льготы сохранены. Но искусство подписки ведь в чем состоит? Надо вперед подписать тех, у кого льготы, обеспечить их и уложиться в тираже.

КОРР. В приказе утверждается, что все тиражи остались на прежнем уровне. Однако у нас есть данные, что, например, в Ленинграде на 1 января 1988 года было 102 тысячи экземпляров «Огонька», а на будущий год выделено на 32 тысячи меньше. В Крыму было 10 тысяч, а на 1989 год дают только 8,5 тысячи. То же самое и по другим журналам и газетам.

Е. М. В этом виноват я, если уместно это слово «вина». Мы решили несколько увеличить для 28 изданий розничный тираж. Потому что держать читателя в таком напряжении просто невозможно: мы должны думать о курортниках, о тех, кто по материальному положению не может подписаться. Мы на коллегии министерства обсуждали этот вопрос и докладывали руководству, что министерство вправе само определять распределение тиража между розницей и подпиской. «Огоньку» мы взяли и установили розницу в 610 тысяч, что вдвое больше сегодняшней розницы. Но тут началась критика. Одна газета, другая... Ну, что ж! На днях я должен подписать распоряжение о том, что розничный тираж останется таким же плачевным, как и в прошлом году. Ни один экземпляр не будет перекачен в розницу из индивидуальной подписки. Это я открыто говорю — ничего не скрываю. Больше того: если обстоятельства заставляют и не хватает подписки пенсионеру, учителю — мы говорим: залезайте в розничный тираж! Что делать! Но относительно библиотек я все-таки настаиваю: библиотеки должны подписаться, чтобы все люди могли читать. И здесь надо вам, журналистам, нас поддержать. А то что есть нарушения — каждый дефицит их рождает. Я приведу такой факт двухгодичной давности. Запросили в Запорожье у обкома партии, куда делось приложение к «Огоньку». По душевому уровню потребления приложения на первом месте оказались стоматологи, на втором месте — партийно-советский аппарат, на третьем — работники торговли, а рабочий класс — на десятом... Я, конечно, не могу гарантировать, что в какой-то точке Советского Союза не используют дефицит по блату.

КОРР. В прошлом году на многие издания упала подписка. Изучив причины снижения тиража, вы могли бы и прогнозировать уменьшение количества подписчиков некоторых изданий и на этот год — с тем чтобы перекинуть бумагу тем журналам и газетам, которые испытывают ее нехватку.

Е. М. Сегодня не нашлось человека ни в одном ведомстве, который взял бы на себя ответственность, который бы сказал: «Мы заморозили на одном уровне журнал «Огонек» и какой-то другой журнал. Тот журнал идет на убыль, ему можно было бы дать тираж меньше, а этому журналу дать больше». Не нашлось такого человека-судьи...

КОРР. Сколько, на ваш взгляд, мы будем жить в условиях дефицита на подписку?

Е. М. Он вряд ли прекратится в будущем году. Послушав представителей Госплана, я понял, терпеть трудности с бумагой нам придется 2—3 года. Вряд ли мы бросим валюту в каком-то большом масштабе на бумагу. Ведь это стыдно — такой стране, с таким лесом,— чтобы бумагу привозили из-за рубежа.

ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ

Помимо всего прочего, состоявшееся решение о подписке — недопустимый удар и по только что начавшим складываться в стране механизмам более или менее нормального функционирования общественного мнения. Такое функционирование предполагает наличие в обществе максимально широкого и равного доступа всех секторов общественности, всех слоев и групп населения к имеющимся источникам информации, а также неограниченных возможностей для свободного выражения массами своей воли, своих интересов и предпочтений. Введение лимита на подписку решительно подрывает оба эти условия. Общественное мнение вновь лишается той питательной среды, в которой оно только и может естественным образом формироваться, вновь ввергается в ситуацию принудительного и несправедливого распределения информации, равно как урезанного выражения существующего спектра мнений, когда так легко манипулировать сознанием людей. Кроме того, общество снова теряет надежнейший, эффективный инструмент измерения реальных ориентиров и взглядов масс, тем самым анализа фактической расстановки сил в сфере общественного сознания.

Б. А. ГРУШИН, профессор, первый заместитель директора Всесоюзного центра изучения общественного мнения при ВЦСПС и Госкомтруде СССР.

Наш адрес: 101456, Москва, Бумажный проезд, 14



ФИРМАЧИ

СССР занимает 1-е место в мире по регистрации изобретений в год. Горжусь этим. И — стыжусь того, что производительность труда и качество продукции у нас в стране столь низки.

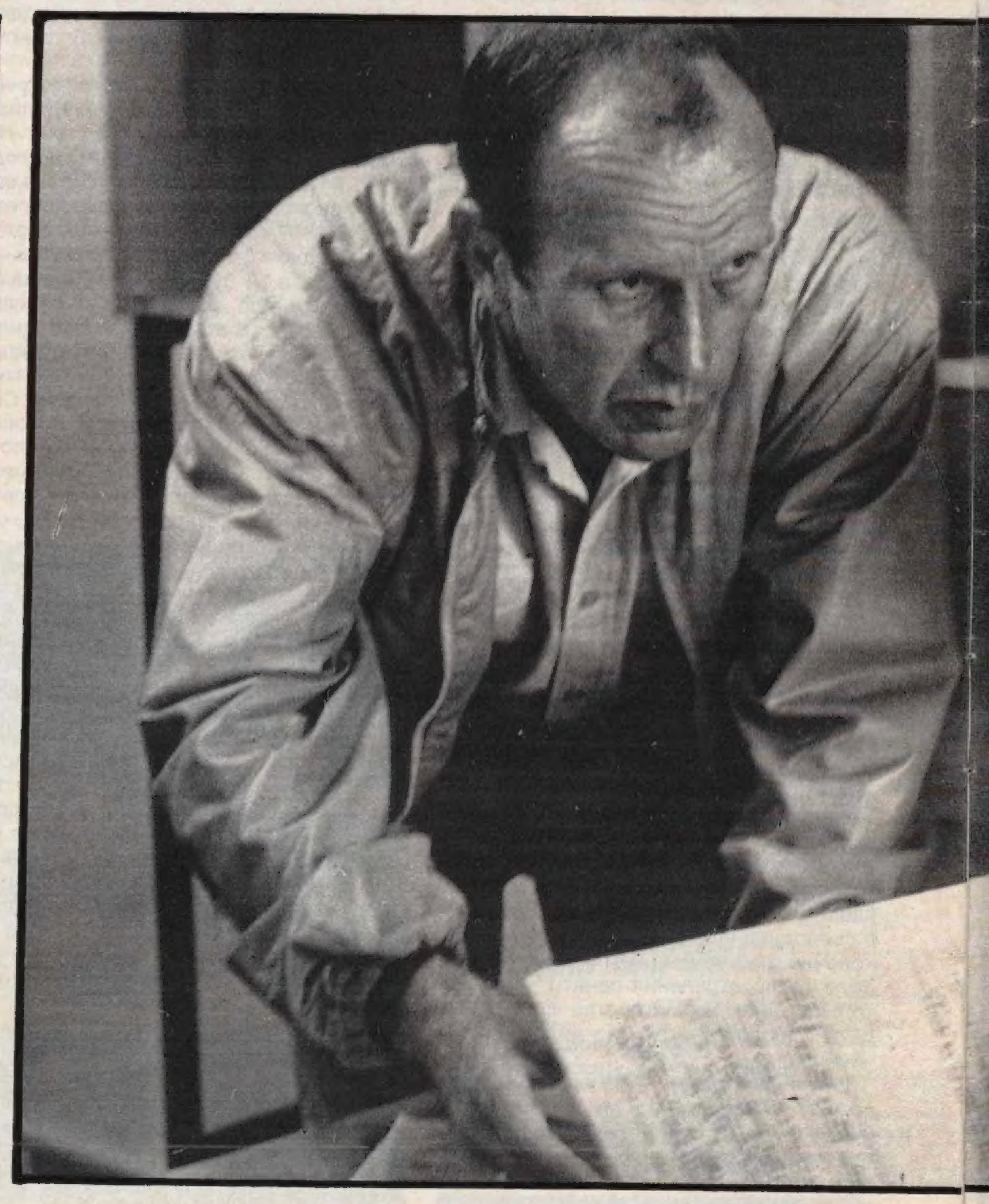
...Шведы вдруг предложили перевести в Ригу завод с Тайваня. Надо подумать, выгодна ли сделка? И чапаевы из фирмы «Инженер» думают... Фирма кооперативная, научно-техническая. Так что шведы обратились по адресу. Главный интерес рижских фирмачей сконцентрирован как раз в области так называемых узких мест экономики. Гордиев узел принято разрубать, но фирмачи из «Инженера» предпочитают развязывать, распутывать... Реаниматоры экономики — так можно сказать о кооператорах из внедренческой фирмы. Можно сказать и по-другому: была бы голова (лучше две, пять, десять!), а золотые руки найдутся. Проверено на практике. Инженерство — страсть людей, объединившихся года три назад для начала в научно-технический кооператив при Рижском институте инженеров гражданской авиации. Теперь — с мая 1988 года — действует фирма и сорок ее филиалов.

Николай БЫКОВ

Микроавтобус мчит в экс-аэропорт «Спилве». Здесь никаких самолетов, аэропорт давно переехал, среди тихих аллей осталось величественное здание с помпезным интерьером. Третий этаж, комната с поблекшей вывеской «Руководитель полетов». Здесь по вечерам сходятся руководители кооперативной фирмы. Шучу: «Фирма имени Хаммера?» Не этот ли сильно почитаемый и до наших дней инициативный старец открыл в революционной России прибыльное дело? Шутку фирмачи не приняли: в России и до юного предприимчивого американца были весьма умные, оборотистые люди дела. Миллионами ворочали, у них рубль не лежал, а имел хождение. Чохов, Демидов, Ползунов, Морозов — имен достойных немало... Но эта переброска словами — разминка. А главным оставалось понять, в чем интерес необычных фирмачей. Не пирожками торгуют... Чем же?

— Инженерным сервисом,— ответил глава фирмы Михаил Дмитриевич Максименко.

Я вспомнил бедолагу Лопатина из романа Владимира Дудинцева «Не хлебом единым». Его судьба, судьба его изобретения всколыхнули страну — это было тридцать лет назад. Человек придумал, как делать трубы. Но ни его мысль, ни его чертежи, ни даже дефицитные трубы не были нужны славным командирам славной индустрии. И читатели, у которых не было ни доброй одежды, ни человеческого жилья, ни нормального стола, поднялись в защиту литературного героя их времени: на обсуждение книги было трудно попасть, а читательскую конференцию в московском Доме литераторов охраняла конная милиция, и автор просил из-за сто-





Улдис Вихманис и Раитис Янсонс готовят сюрприз колхозу «Виеструри»...

Глава фирмы М. Д. Максименко (справа) редко бывает в своем офисе.

По рукам: фирмачи купили пароход.

Фото Анатолия БОЧИНИНА

ла президиума: «Передайте, пожалуйста, сюда мою жену!» Хранительница очага отважного автора проплыла над головами пишущей братии. Конференция обернулась митингом в защиту прав человека разумного, лишенного своекорыстной номенклатурой не куска хлеба, а надежды увидеть в металле конструктивные грезы бессонных ночей. Интеллектуальное бесправие, удары головой о стену — что может быть хуже? В новой дудинцевской трубе безошибочно учуяли смертельную угрозу его величеству Валу. Мысль о раскрепощении в ту пору не имела права даже на книжную жизнь.

Максименко учился тогда в школе. И вот он уже сед, а отечественный воз с авторскими свидетельствами и ныне там. Там — значит, на территории затратной экономики, где никакой выгоды что-нибудь обновлять, ускорять, совершенствовать. Жить.

— У служителей, идеологов антиэкономики,— растолковывал мне Михаил Дмитриевич,— был, конечно, свой интерес, теперь это очевидно. Набор показателей, проценты от достигнутого, да мало ли... Скучно все это, мертвая арифметика...

Какой иммунитет ко всему живому, что постоянно саморазвивается, самореализуется и от них независим.

«Русские товары позорно низкосортны»,— больно вычитывать такое на страницах лондонского еженедельника... Бывают ярлыки и похуже: «Верхняя Вольта с ракетами» — и это о стране Октября и первого космонавта. Но тут уж не до амбиции... Никто больше не задает исконно русских вопросов: «Кто виноват?» и «Что делать?». Делать надо дело. Полтора года назад в стране нашей было зарегистрировано 1 282 823 изобретения. Говорят, даже в США меньше. На день выхода этого номера журнала число изобретений зарегистрировано еще больше — мысль человеческая не знает смен, сезонов, отставок. Стало быть, интеллектуальный потенциал страны велик. Но он уходит в тяжелый песок зацентрализованной и забюрократизованной экономики.

— Век даже у самых-самых изобретений короток,— печально констатировал Михаил Дмитриевич.— Авторское свидетельство, опытный образец, экспонат на выставке... Последнее — в лучшем случае.

Но самое страшное — отторжение таланта от повседневных хозяйственных дел. Так вот, фирмачи из «Инженера» сделали ставку на талант. Это их кредо. Но талант мало приманить, обласкать; его надо запустить поверх барьеров — ведомственных прежде всего. И тут нужен правовой коллектив, объединение единомышленников, защищенных от недоброжелателей юридическими доспехами. Роль гаранта — кооперация, понятая по-ленински как организация социалистическая.

Подобные кооперации — внедренческие — к жизни вызвал хозрасчет. Именно хозрасчет, то есть ориентация на прибыль: он заставил, потребовал поворачиваться быстрее и более осмысленно. Обнаружилось, что не все государственные предприятия готовы освоить преимущества хозрасчета, вообще противозатратной экономики. Не видят, в чем выгода, как ее извлечь? Делать деньги — наука, которую человечество постигает много веков. Трубадуры несуществующей экономики при социализме считали, что социалистическое предприятие может быть и убыточным. Во всяком случае, слова «прибыль», «предприимчивость» мы определяли как классово чуждые.

Принципы внедренческой кооперации — договор с заказчиком, оплата только за счет будущей прибыли, научное обоснование каждого проекта. Пожалуй, и все. Главное, отношения чисто экономические: сделка к сроку! Время — деньги. И никакой уравниловки. Уравниловка унижает, обезоруживает. Как не заплатить человеку, предложившему, например, пасту-индикатор, которая сама собой определяет содержание воды, влаги в любой емкости, в топливе! Да ей цены нет! Есть цена, есть. Цену определяет нужда именно в такой чудо-пасте. Потребитель определяет цену. И вот для внедрения понадобились уже не годы, но считанные недели, даже дни. И резко снизились производственные расходы, ибо таков принцип новой противозатратной экономики.

Инженерный сервис продолжается.

Помню, что время — деньги; но все же заполучил на считанные минуты коммерческого директора внедренческой фирмы Евгения Владимировича Свербилова. Его конек — коммерция. Что почем — он знает лучше всех. И никаких секретов.

— Нет, мы никакие не подвижники, не альтруисты А движет нами интерес.

— Заработки?

— Естественно.— И тут же Евгений Владимирович отрицательно замотал головой.— Да, конечно, деньги, но поймите — не только! Не только, и тут никакого парадокса. Мы все дети своего времени, и социально мы весьма отличаемся от инофирмачей. Мы патриоты, и породила нас боль за сотни, тысячи невостребованных изобретений.

— За державу обидно?

— Именно! Обидно, что умному нет места в рабочем строю. Обидно, что некий тупица решает судьбу технического перевооружения на заводе. Да, мы стараемся заработать побольше, но не на несчастье, не на беде своего ближнего, а именно на его счастье. С идеологией у нас все в порядке. Фирмачи, да не рвачи... Реноме — главное. Доброе имя.

— И все же, что привело ваших деловых людей в кооперацию? — спросил я, не понимая до конца механизма единения, стимулов такой тяги к работе вместе. На совершенно новых принципах.

— Неудовлетворенность,— Евгений Владимирович не помедлил с ответом.— Иной раз тяжелая неудовлетворенность своей карьерой, ролью в обществе. Скажу о себе. Меня порой охватывало отчаяние — близко к сорока, а кто я, что я?.. Вот и сорок, и еще год жизни как корова языком слизнула. Жизнь быстротечна, ни в чем не проявилось мое «я»...

И однажды весной по всей стране ударили в набат: конец застою, всяческой мертвечине. Люди, не утратившие способности задумываться и думать, а главное—чреватые поступками, очнулись первыми, стали действовать. Разрешено все, что не противоречит Закону!.. Наконец-то. Можно взять на себя любую ношу и нести. Бремя ответственности, риск, вера в расчет и плечо единомышленника — все это увлекает. Такое никогда не поздно начать, даже в сорок!..

— Кооперация — школа самостоятельности, это ясно,— подчеркнул коммерческий директор.— Вот, например, я составил договор и предлагаю автору задумки, ставьте, мол, подпись! А он ошарашен — я? Конечно, вы! Вы идеееноситель, вы исполнитель, вы возглавили филиал, вы отныне лицо ответственное. Он, верите, на глазах делается другим человеком, перерождается, подписывает договор, и в нем умирает раб.

Евгений Владимирович не устает повторять, что организация дела очень проста: «Все гениальное просто». Реклама привлекает заказчиков; заказ принимаем только после всестороннего рассмотрения людьми компетентными. Приняли заказ — для выполнения создается временный трудовой коллектив. Сошлись, дело сделали, разбежались. И как только заказчик начал получать прибыль — пошли отчисления на банковский счет фирмы; часть этих денег идет на оплату труда всех участников выполнения заказа. И все. Заказов много. Самых разных, самых, казалось бы, неожиданных. Уже заключены десятки договоров на миллионы рублей.

Коммерческий дирижер (я не оговорился) Е. В. Свербилов приводит пример за примером «сдачи под ключ», как он выражается. Схема оправдала себя: привлеченные научные силы анализируют ситуацию, предлагают модель реализации проблемы. После них вступают в дело исполнители, мастера — золотые руки, например, станочники, строители, художники, наладчики, смотря какой заказ...

— Посмотрите направо,— вполголоса предложил Евгений Владимирович.— Видите, за столом моложавый человек при галстуке? Профессор Валерий Васильевич Ушаков. Пришел с предложением помочь распутать проблемный узел... Обсуждает договор на заказ, связанный с его узкой специальностью. Наше правило: судьбу дела, а стало быть, прибыли, ну и чести, конечно, определяет уровень, глубина научной проработки. Ученые определяют ценность продукции, ее перспективу... И потянулись в фирму «Инженер» маститые, седые, переполненные идеями.

Есть выражение «энергоемкая продукция». За ним скрыта еще одна грань затратной экономики. Известно, что у нас в стране промышленность тратит вдвое-втрое энергии больше (на единицу продукции), чем в развитых странах. Это — деньги. Это — нищета. А время? Времени от котлована до ввода пускового объекта традиционно уходит раз в десять больше, чем у людей прижимистых, умеющих считать валюту. Что ни ГЭС, то четверть века; что ни завод, комбинат, очередной гигант, то две-три пятилетки... Для антиэкономики время — не деньги, а некая абстракция.

Фирма «Инженер» использует все что можно. В ее прибыли участвуют и отделы горисполкома. Идеи — у фирмы; у города — производственная база. Есть сделка. Фирма сама как таковая ничего не производит, она лишь идееноситель и организатор труда на кооперативных началах. И если надо, то и государственное предприятие не оставит в стороне в приятном покое — предложит ему сотрудничество на выгодных условиях: есть заказ, есть модель и чертежи, по рукам? И все чаще заинтригованные предприятия в лице их руководителей, а чаще советов трудовых коллективов вступают в сделку с фирмачами, предоставляя им оборудование. Так начинают возрождаться и вторая, и третья смены! Станки отныне крутятся и день и ночь отнюдь не в переносном смысле.

— Да почему? — наседаю я.

— Выгодно! — следует короткий, ясный ответ.— Начальству было все равно, рабочим до лампочки... Теперь — сумма прописью; перечисления отрезвляют, втягивают в дело, сверхурочную работу.

Мне рассказывали, как пришел в цех фирмач и, рассказав о завлекательном заказе, спросил у рабочих: кто из них остается после смены подхалтурить? Некоторые подняли руки, признались — да, мол, случается. А сколько мелочная халтурка дает? Ответ последовал ожидаемый: бутылку. И тут фирмач предложил живые деньги за вполне конкретное изделие. И желающие отозвались, почему не попробовать, коли не одной бутылкой пахнет? Да и любопытно все же с предложенным чертежом повозиться, покумекать. Не весь человек умер — остался вживе интерес и к достаточному рублю, и к заданию замысловатому. Так пробуждается личность умельца, мастера.

— Появилась возможность реализовать себя,— вернулся Евгений Владимирович к первой своей мысли.— Возьмите даже нас, наше дело; мы самовозникли, нет у нас учредителя. Такова была тяга к новому. Нетерпение жить. Тут у нас каждый занят совершенно конкретным делом, и никто ни на кого не жмет, тем более грубо. В основе отношений — доверие. Для начала предприятия можем солидную сумму выдать. Иные из газетчиков спрашивают: а вдруг, мол, человек сбежит с деньгами? Почему-то мысль о нечестности, бесчестии приходит первой... Доверяем. Пока никто не подвел.

Дело чести, профессиональная гордость, человеческое достоинство — все это вполне реальные черты характера, скрытые втуне.

О налоговой политике мы тоже говорили, но тут многое еще не отстоялось, непродуманного много. Одна надежда, что со временем общественность, сами кооператоры помогут нашему горе-Минфину найти оптимальное решение, достойное социализма и правового государства. А пока Минфин грозит брать с фирмы по 53 копейки с каждого рубля дохода. С заработанного головой и руками рубля в кассу застойного государства... Получается, что работник государственного предприятия платит 13 процентов подоходного налога, а член кооператива — 53 процента?! Вот откликнулась фирма на просьбу школы-интерната, отремонтировали им здание, сделали гараж, дачу у моря, но прибыль — ноль; хотя материалы фирме достаточно дорого обошлись. Это как? А ведь у школы-интерната есть шефы, несколько шефов... Вот цена «государственного отношения к государственным детям». Но — реноме, честь фирмы дороже денег! «Я же говорю, мы патриоты, советские фирмачи»,— помню я слова коммерческого директора.

Нашумевшее в Риге дело — спасение сокровищ библиотеки имени Лациса. Директор ее Андрейс Кейзарс пытался было взывать к совести десятков организаций: помогите книгам! Куда там! Дело необычное, трудоемкое, а денег у директора — бюджетных — кот наплакал. Да еще в чей-то план со своими проблемами надо попасть... Фирма изучила проблему. Привлекла сотрудников-добровольцев трех академических институтов. Вопросы тугоплавкие: микробиология, механические полимеры, химия древесины... Умирали фолианты. Обреченные на исчезновение голоса веков, человеческие голоса. Ясно стало — выход в поиске нестандартной технологии восстановления. Каждой книги в отдельности. И фирмачи решились, взяли дело спасения на себя, а в договоре обусловили, что сделают втрое быстрее, чем обещали когда-то специалисты соответствующего министерства, а главное — для директора А. Кейзарса — вдвое дешевле. И работа закипела. Дело получило огласку — и снова речь идет о чести фирмачей. Привлекли всех сведущих, всех желающих, умеющих. Фирма сосватала реаниматоров самых неожиданных профилей. Кооператоры, повязанные отныне коллективным договором, азартно, в охотку занялись поиском: анализами по сорока параметрам! Оказалось, грибок грибку рознь, и каждый потребовал нового подхода, новых средств «общения». Общественность Риги требует от фирмы самоотчетов, тревога за республиканское богатство нешуточная. Выяснилось, что до середины прошлого века бумагу приготавливали из настоящей целлюлозы — без примесей, и она терпела натиск плесени, грибков. Но вот уже более века включение новомодных примесей в целлюлозу сократило жизнь бумаги чуть ли не вдвое. Книги так и не научились в отличие от человека дышать миазмами современного города, углекислым газом и окисью углерода. К тому же в библиотеке была негодная вентиляция... И вот диагноз установили, фирма взялась за переселение книг в ангары, ангары нашли аж... в Кисловодске! Теперь их доставили на место, оборудуют — увлечены все, и инженерствующие специалисты, и студенты-добровольцы. Великое дело — энтузиазм на научно-экономической основе.

А всему причина — кооперация по интересам и деловым признакам. Для оценки человека тут один критерий: глупец или умный? В круг деловых отношений принимаются умные, умелые, истосковавшиеся по рукомеслу. Три полковника в отставке сорганизовались в группу быстрого реагирования на ремонтных работах. Изобретатели наконец-то получили — каждый — свое поле приложения интеллекта. Заработали конструкторы — эти и во сне мудрят, а к утру заявляются с готовым решением. Кто-то предложил необычный источник денег — сдавать суда, ставшие на прикол, на металлолом. Но их надо где-то резать? Служба информации доложила: лихо режут в Гамбурге, Сингапуре... Мысль заработала, будто побежал огонек по бикфордову шнуру: выкупить ржавые корыта, перегнать через море... Тут же появился на горизонте и добровольный штурман. Что-то есть в этом решении...

С принятием Закона о кооперации в СССР рухнула надстройка антиэкономики, ее правило: распределяй и властвуй. Вместо фондов да лимитов прямые экономические отношения. Затяжной прыжок экстенсивного ведения (неведения!) хозяйства прервала реформа. И власть распределяющих испустила дух, нет доброй сороки-белобоки: тебе кашку, тебе, а тебе — нет... Власть имели те, кто распределял доходы, прибыль. На XIX партконференции прозвучало бунтарски: хватит выплачивать министерствам львиную долю прибылей! Хватит присваивать чужой труд! Уже пионер реформы С. Федоров выкупил у Совета Министров СССР свой центр вместе с помещениями и оборудованием, то бишь средствами производства! Стало быть, теперь и власть его, Федорова с единомышленниками.

Постепенно власть прибирают к рукам кооперативы вроде внедренческой фирмы «Инженер», ибо власть над продуктом труда, по Энгельсу,— сама реальность. Мысль принадлежит ее автору — он, только он вправе распорядиться ею, продать ее. Аренда земли и других средств производства только подтверждает правильность пути инженеров из «Инженера». Пусть только договор определяет, кто что получит после выполнения государственного заказа или контракта с потребителем. Покупатель всегда прав? Но прав и тот, кто берется за дело, кто затрачивает свои мысли, свой талант, свои знания. И усилия. Из всего этого и создаются услуги. Инженерные и прочие.

— Если Земля перестанет вертеться, вновь ее закрутим! — пообещал Михаил Дмитриевич Максименко.— У нас тут каждый в роли менеджера. И никого из начальствующих, кто привык даром хлеб с маслом есть... В цене иные ценности. Каждый — старатель. Намывающий золото технического прогресса. Как говорится, любовь через поступок. Любовь к деньгам, к житейской роскоши тоже. Дело — главное обеспечение жизни. А слова ничего не стоят. И суета с беготней ничего не стоят... Через эти комнаты уже прошли тысячи, остались десятки!..

Недавно к ним обратился Совет Министров республики с просьбой подобрать модель развития для одного хозяйства в Бауском районе. Поехали. Прикинули. Взялись. Договор подписали, хотя агропром Латвии тянул резину как мог... Работа на три года. Будет хозяйство с гарантией прибыли в размере восьми миллионов рублей в год. Взялись за гуж... Безотходное производство; заодно — дороги, жилье, досуг, охрана окружающей среды, экологически чистая продукция с выходом на мировой рынок!

Штаб кооператива напоминает Петроград семнадцатого года: входят-выходят озабоченные люди, коротко обмениваются полуфразами, получают задания, называют объекты, расписываются под трудовыми соглашениями. Весь аппарат — технический секретарь Людмила Михайловна, она же делопроизводитель, машинистка, то и дело подхватывает разгоряченную телефонную трубку: «Инженер» слушает... Записываю...»

Все кооператоры работают здесь в свободное от основной работы время. И технократы, и гуманитарии. Студенты, аспиранты, научные работники, военные-отставники...

Недавно рижские кооперативы объединились в ассоциацию. Теперь их голыми руками не возьмешь. Поэтому-то я и заговорил о реальной власти в народном хозяйстве.

— Какие проблемы?

— Найти заказчика. Найти материалы. Второе сложнее. Вовлекаем в круг деловых интересов государственные предприятия. В эти месяцы помогаем некоторым из них, в том числе деревообрабатывающему заводу, совхозу, перейти на хозрасчет. Есть интеллектуальная группа «Хозрасчет»...

— Учите, как стать богатым?

— Это — главное в наших услугах. В долю к нам вошло даже знаменитое объединение ВЭФ. Ум хорошо, а если два и больше — лучше.

Горько, когда ждут своего часа рукописи в столах, киноленты на полке. Но если не востребовано изобретение, то эта «невнедрёнка» бьет по карману одареннейший наш народ! Семью народов. Цена убытка такого рода — четыре миллиарда рублей в год. Цена застоя и невнедрёнки, цена недоверия, точнее, неверия в творческие возможности советских людей.

— Итак, потенциальные возможности фирмы?

— Организуем полет на Марс. Входите в долю!..



И. Е. РЕПИН. 1844—1930. УКРАИНКА. 1875.



А. А. ЛАБАС. 1900—1983. ЕДУТ В БОЙ. ИЗ СЕРИИ «ДЕКАБРЬ». 1929.

ПАЛИТРА

Ирина АНТОНОВА, директор
Государственного музея изобразительных искусств
имени А. С. Пушкина

ДАРЫ МУЗЕЮ ЛИЧНЫХ КОЛЛЕКЦИЙ

Удивительно, как меняется отношение к некоторым явлениям в нашей жизни. Еще не так давно личное коллекционирование рассматривалось у нас как занятие весьма сомнительное, может быть, даже не совместимое с социалистическим образом жизни. Фигура коллекционера казалась загадочной и подозрительной. Объяснить такой взгляд, впрочем, нетрудно. Советское музейное дело складывалось на основе национализации личных коллекций, в благородном стремлении открыть сокровища мирового и отечественного искусства народу. Отрицание частного коллекционирования на определенном этапе было неизбежно — личная коллекция олицетворяла неправедное богатство. Деятельность коллекционеров приобрела если не подпольный, то, во всяком случае, «теневой» характер. Некоторые собиратели к тому же портили репутацию своих собратьев по увлечению, пускаясь в предосудительные операции с художественными ценностями.

Вместе с тем личное коллекционирование — это не только страсть и не только творческое самовыражение личности. Это — общественно необходимая деятельность. Во все времена коллекционеры были самыми образованными и заинтересованными зрителями. Мировое музейное дело во многом опиралось на личное собирательство, крупнейшие музеи мира создавались на основе частных коллекций. Это в равной мере относится как к ленинградскому Эрмитажу, так и к мадридскому Прадо, как к Третьяковской галерее в Москве, так и к Национальной — в Лондоне. Среди выдающихся коллекционеров в нашей стране в прошлом были государственные деятели Н. Б. Юсупов, И. И. Шувалов, С. Г. Строганов; купцы и промышленники П. М. Третьяков, С. И. Щукин, И. А. Морозов; художники М. П. Боткин и И. С. Остроухов; ученые Д. А. Ровинский, П. П. Семенов-Тян-Шанский. Коллекционеры не раз выступали первооткрывателями в оценке творчества выдающихся художников и целых периодов в истории искусства. Так, поэт В. А. Жуковский и сын поэта П. А. Вяземского — П. П. Вяземский первыми проявили интерес к немецкому средневековью. Последний собрал прекрасную коллекцию ранней немецкой живописи, которая ныне хранится в Музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Усилиями русских и американских собирателей — С. И. Щукина и И. А. Морозова, а также Гертруды Стайн — вошли в разряд «музейных» художники П. Пикассо и А. Матисс. Современный немецкий коллекционер П. Людвиг (ФРГ) одним из первых на Западе приступил к созданию систематической коллекции советского искусства. Наши же собиратели упорно в течение нескольких десятилетий коллекционировали таких «отлученных» от официального признания художников, как А. Древин, Р. Фальк, Н. Удальцова, М. Шагал, М. Ларионов, А. Тышлер.

Изменение отношения к «неформальной» деятельности собирателей в наше время нашло самое яркое и, возможно, для многих неожиданное выражение в создании еще в июле 1985 года нового подразделения при Музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина — Музея личных коллекций, переданных в дар государству. Положил начало этому новому для советского музейного дела начинанию крупный советский ученый Илья Самойлович Зильберштейн. Весной 1985 года наш музей показал выставку собранной им коллекции, после чего коллекционер принял решение безвозмездно передать ее государству. Музей и раньше получал многочисленные щедрые дары, в том числе такие крупные коллекции, как картины, графика, скульптура А. Матисса от Л. Н. Делекторской (Франция); картины, рисунки, книги, архивные документы — от Рокуэлла Кента (США), более 800 рисунков западноевропейских старых мастеров — от доктора искусствоведения А. А. Сидорова, и многие другие. Особенность нового дара заключалась в непременном желании владельца сохранить его коллекцию в экспозиции как единое целое. Это пожелание стало основным принципом формирования Музея личных коллекций. Нам показалось вполне закономерным наряду с экспозициями, выстроенными в согласии с художественно-исторической периодизацией, иметь раздел, в котором бы нашли отражение сама личность собирателя, его пристрастия, вкусы, запечатленные в собранной им коллекции.

Прошло больше двух лет со дня основания нового музея. Что же сделано за это время? Под размещение коллекций Моссоветом переданы два дома рядом с основным зданием Музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. В ближайшее время здесь должны начаться работы по их реконструкции и приспособлению под музейные нужды. Это старые московские особняки. Один из них, перестроенный в 1892 году академиком архитектуры В. П. Загорским, получил название «Княжий двор». Другой дом, выходящий фасадами на Волхонку,— строение XVIII века, четырежды перестроенное в последующее время. Оба здания по характеру своей архитектуры, камерной уютности помещений как нельзя более подходят для размещения личных коллекций. Однако работы предстоят огромные. К сожалению, большинство старых строений Москвы в течение ряда лет плохо эксплуатировалось. Здания полуразрушены, заражены грибками, жуками. Все они требуют целого комплекса антисептических работ, без проведения которых не может быть речи об их использовании под музейные цели. Опыт такого рода работ у нас есть: в свое время мы привели в порядок так называемый «Дом Верстовского», в котором ныне расположен отдел рисунка и гравюры, а также бывшую церковь Св. Антипия, тоже переданную музею.

Не менее важной стала в эти годы работа над сбором коллекций. На недавно прошедшей в Музее имени А. С. Пушкина выставке мы показали как бы первый набросок будущего Музея личных коллекций, представив на ней произведения, уже переданные в новый музей. Каков же портрет сегодняшнего советского коллекционера? Кто эти люди, посвятившие себя благородному делу поиска и сбора художественных сокровищ в нашей стране?

Имя доктора искусствоведения Ильи Самойловича Зильберштейна широко известно не только в нашей стране, но и за ее пределами. Это Коллекционер с большой буквы. Илья Самойлович собрал поистине уникальную коллекцию, насчитывающую более 2200 произведений зарубежного и русского искусства. Трижды наш музей показывал собранные им сокровища на выставках. В русском разделе коллекция И. С. Зильберштейна охватывает почти все периоды истории русского искусства начиная с XVIII века до 20-х годов XX столетия. Особенно полно представлены в этой коллекции И. Репин, А. Бенуа, К. Сомов, Л. Бакст, Б. Кустодиев. Огромна историческая ценность портретов декабристов и членов их семей, написанных Н. Бестужевым в ссылке. В разделе западноевропейского искусства замечательны рисунки Л. Камбиазо, Б. Спрангера и, конечно, Рембрандта — «Авраам и Исаак на пути к жертвеннику».

Более тридцати лет занимаются коллекционированием супруги Мартын Семенович Варданян, почетный химик, пенсионер союзного значения, и Назели Степановна Лисициан-Варданян, доктор экономических наук. Их интересы лежат в области армянского искусства, с деятелями которого в течение многих лет их связывают дружеские отношения. В их собрании есть работы М. Сарьяна, М. Аладжалова, М. Аветисяна, Л. Бажбеук-Меликян, Л. Кождаяна. Всего в Музей личных коллекций они передали 110 произведений живописи и графики, и среди них два морских пейзажа И. Айвазовского.

Весьма специализированный характер носит собирательская деятельность супругов Евгения Яковлевича Степанова, полковника ветеринарной службы, и Елены Николаевны Орловской. Они собирают бронзовую скульптуру анималистического жанра. В их коллекции представлены как русские, так и иностранные мастера XIX века, в том числе работы П. Клодта, Е. Лансере, П. Тургенева, Ж. Муанье, П. Ж. Мэна. Первоначально владельцы решили завещать свое собрание Музею личных коллекций, но, узнав о работе, ведущейся по его подготовке, передали его в дар.

Весной 1987 года в Музей личных коллекций поступили картины от пяти членов семьи Соловьевых — научных работников. Все вместе они решили передать музею картины, собранные их отцом Сергеем Васильевичем Соловьевым. Его интересовала прежде всего русская реалистическая живопись второй половины XIX — начала XX века. В разное время С. В. Соловьев приобрел полотна В. Перова «Женский портрет», И. Шишкина «Пейзаж», В. Поленова «Христос», картины Н. Дубовского, Н. Богданова-Бельского, Д. Бурлюка, К. Лебедева, И. Куликова. В коллекции С. В. Соловьева находилось большое незаконченное полотно И. Репина 1913 года «Дуэль», эскиз к которому принадлежит Третьяковской галерее.

К числу самых значительных поступлений Музея личных коллекций следует, без сомнения, отнести собрание живописи и графики ленинградского коллекционера Александра Наумовича Рамма, профессора, доктора технических наук. Коллекционированием А. Н. Рамм занимался практически всю свою жизнь. Летом 1987 года, незадолго до смерти, он завещал собранные им произведения Музею личных коллекций, и его наследники не преминули после его кончины исполнить его волю. Так поступили в музей 162 работы русских художников рубежа XIX—XX веков. Коллекцию А. Н. Рамма отличают высокое художественное качество, удивительная цельность замысла. В числе поступивших работ произведения З. Серебряковой, В. Серова, К. Коровина, Б. Кустодиева, Б. Григорьева, А. Бенуа, Н. Гончаровой, великолепные картины Р. Фалька и Н. Альтмана — художников, с которыми профессор поддерживал дружеские отношения.

В Музее личных коллекций найдет свое место и переданная в дар Музею изобразительных искусств имени А. С. Пушкина коллекция итальянского прикладного искусства, а также живописи, скульптуры и графики Евгении Владимировны Полосатовой, бывшего директора музея-квартиры Тимирязева. После состоявшейся в Москве летом 1955 года выставки картин Дрезденской галереи Евгения Владимировна принялась разыскивать в нашей стране произведения итальянских мастеров. Она весьма преуспела в своей деятельности, собрав прекрасную коллекцию очень редких работ. Составил завещание в пользу Музея личных коллекций Николай Алексеевич Остроухов из Львова, собравший уникальную коллекцию мебели, стекла, фарфора, серебра XVIII—XIX веков отечественного и иностранного происхождения. Она описана нашими музейными работниками и в будущем найдет свое почетное место в стенах музея, куда недавно поступило и собрание русской иконописи XV—XVIII веков (около 100 икон). Почтенный владелец пожелал пока остаться неизвестным, но его коллекция также будет представлена в экспозиции музея.

В процессе создания Музея личных коллекций мы встречаемся с удивительными людьми. Это научные работники, врачи, художники, инженеры, артисты. Успехи в их деятельности, как правило, зависят не столько от их финансовых возможностей, сколько от знаний, постоянного поиска. Решение передать или завещать свои коллекции государству приходит к коллекционеру не сразу. Но многие из них отдают себе отчет, что подлинное увенчание их благородной деятельности — это предоставление собранных их знанием, любовью к искусству сокровищ народу.

Характерная особенность переданных в Музей личных коллекций собраний — это преимущественно русская живопись. Тем самым границы нынешнего Музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина будут существенно расширены за счет создания разделов отечественного искусства, которые, впрочем, очень значительны в разделе графики и нумизматики.

С открытием двух зданий Музея личных коллекций Москва получит прекрасный комплекс разнообразных собраний, свидетельствующих о широте художественных интересов наших любителей искусства.

ПОСЛЕДНЯЯ

Он должен был возвратиться из своих лабиринтов. Я всегда верил, что он однажды придет обратно: слишком многое соединяло Виктора Платоновича Некрасова с нами — людьми, страной, литературой. Человек, вступивший в партию во время великой битвы, награжденный за героизм в этой битве орденом Красного Знамени и написавший одну из лучших советских книг о войне — «В окопах Сталинграда»,— должен был возвратиться.

Я поверил, когда в дождливый день его отъезда из Киева Некрасов сказал мне: «Отдышусь и возвращусь. Ты не думай — отдышусь и возвращусь». Я запомнил это «отдышусь», произнесенное надтреснутым курильщицким голосом, в киевском Пассаже, среди толпы, где большинство не имело понятия, что от нас уходит навсегда человек, которому и мы, и страна эта необходимы. И нам он был нужен. Но чувство взаимной необходимости было подавлено.

Он умер не отдышавшись.

Когда я прочел рукопись Виктора Конецкого, ощущение трагизма значительно складывавшейся и обидно закончившейся жизни Виктора Некрасова лишь усилилось. Мне вспомнилось киевское одиночество Виктора Платоновича, в котором виноваты все мы; общались с ним, по плечу хлопали, а он оставался один, отринутый; незабываемо и то административное удовольствие, род садизма, которое испытывали тогдашние киевские начальники, ставя Некрасову в строку всякое лыко, особенно лыко пьяное. Ни в правдолюбстве, ни в пьянстве меры нет — он и там, и там бывал несдержан, порой с одиночества и тоски. Иногда заходил (мы жили поблизости), разговаривал обо всем на свете — энергично, быстро, а затем замолкал и молчал, покачиваясь на стуле, страдая осязаемо и горько, загоняемый, загнанный в угол. Нельзя доводить таких людей до такой боли. Никого до такой боли доводить нельзя.

Он, русский всем существом своим, очень любил Киев и Украину; но вокруг находились люди, охочие подчирикнуть любому начальству и ущерба патриотизму в этом не видевшие; Некрасову же не раз и не дважды доказывали, что он непатриотичен и чужд, радуясь его ответной несдержанности. Виктор Платонович и стрезва и спьяну мог грохнуть много нелицеприятного, и его немедля не обсуждали, а осуждали, прорабатывали, привлекали, сладострастно уличая. Умевшие грешить и каяться без ущерба для своих морали и репутации от Некрасова не ждали раскаяний, не таким он был человеком, но и не любили за это. За понятность и нераскаянность.

Помню, как однажды Николай Викторович Подгорный «повышали» голос на целую группу деятелей литературы и искусства — Некрасову доставалось больше всех, в чем его только не обвиняли — помнится, даже в импрессионизме. «Этого не бывает,— слушал я рядом — он еще всех подбадривал — шершавый некрасовский тенорок.— Начальство распаляет само себя. Аргументов нет. Спокойно. Спокойно...» И в очередной раз ему приходилось не столько кататься, сколько саночки возить.

Человек очень четких, во многом старомодно-офицерских, так сказать, представлений о долге и чести, он оказался в итоге жизни вдали от дома, был вынужден к общению с людьми не только своего уровня. Даже сам выбор был сужен. И в поисках заработка порой приходилось унижаться до страниц и микрофонов, к которым Некрасов в нормальной жизни не снизошел бы. Это жгло душу. И тем не менее он никогда не предавал тех, кто был с ним доверителен на родине, не пересказывал подробности жизни людей, не прятался за эти жизни, не торговал чужой откровенностью. В отличие от кой-кого из уехавших, поспешавших распродать все, что они знали — поподробнее да поинтимнее — про всех, с кем вчера еще общались на ушко дома, Некрасов был в принципах чести тверд. Помню, как лет десять назад мы выступали в Париже; была очень приличная компания, в том числе Симонов, Евтушенко, Р. Рождественский, Окуджава, Высоцкий. На всех вечерах Виктор Платонович сидел вблизи от сцены; я спросил у одного знакомого, почему Некрасов не подходит к нам поговорить. «Он очень переживает — до смерти хочет поговорить и боится, что может навредить тем, к кому подойдет в открытую...» При всей внешней контактности, общительности он был очень щепетилен в главном.

С каждым днем его отсутствия ни ему, думаю, ни тем, кто его помнил, от этой разъединенности лучше не становилось. Не верю, что ему легко жилось за границей. Долгое время сохраняя советское гражданство, Некрасов лишился его, не удержавшись от комментариев по поводу узаконенных на литературном Парнасе брежневских мемуаров.

Наверное, в основном сам он, Виктор Платонович Некрасов, выстроил себе такую судьбу; но не могу избавиться от ощущения, что горечь этой судьбы была еще и желанной приправой к чьим-то пирам, чьей-то реализованной тоской по «врагам унутренним и унешним». Чьей? Расскажем?

Помню, как Виктор Платонович показывал мне обмененный значок лауреата Сталинской премии; отныне он стал лауреатом Государственной и посему профиль бывшего вождя с премиальной медали исчез. «Может быть, когда и надену!» — засмеялся он. Что-то не припомню Некрасова в галстуке или с лауреатским значком: он, впрочем, умел бывать торжествен без всего этого. Слишком уж мало праздников жизнь дарила ему.

Этот человек до последнего вздоха был связан с Родиной — судьбой, творчеством, болью. Я верю, что он хотел, дабы нам было лучше; горький, неуживчивый, ломаный, немилосердный к себе и другим. Пришлось ему хуже многих; стране не повредил, а себе — очень. Сейчас, когда он умер, хоть сейчас пусть он возвращается: переизданиями, судьбой, письмами, которые он слал в страну до последнего дня, будто натягивал нить, по которой удастся выйти из лабиринта.

Виталий КОРОТИЧ

Виктор Платонович Некрасов

ВСТРЕЧА

Виктор КОНЕЦКИЙ

I

ПАРИЖ БЕЗ ПРАЗДНИКА

В телефонном справочнике — три тома петитом на папиросной бумаге, на тумбочке у изголовья, без микроскопа не прочитаешь — Некрасова не оказалось.

В левацких писательских организациях и заведениях его телефон мне, как старому коммунисту, не говорили. Возможно, опасались быть уличенными в связи с диссидентом. В правых заведениях тоже хранили телефонную тайну, вероятно, опасаясь моего в адрес Некрасова террористического акта. Тем более террор во Франции бушевал на двенадцать баллов.

Нашел я Виктора Платоновича только на третий день через своего переводчика мсье Катала, который, как мне чудится, занимает сложную позицию между несколькими стульями: когда-то товариществовал с Морисом Торезом и был корреспондентом прокоммунистических газет в Москве, а потом неосторожно женился на московской дамочке и, вернувшись вместе с ней — уже Люси — в Париж, обрушился на наш культ и последующие культики, сдвинувшись таким образом в лагерь империализма и угодив в лютые враги нашей «Литературки».

Позвонил к Некрасовым около полудня.

Ответил женский голос по-русски. Я назвал себя и добавил, что прилетел из Союза, из Ленинграда.

Раздалось:

— О! Виктор Платонович сейчас в ванной под душем, не могли бы вы позвонить минут через десять?

— Нет! — сказал я.— Я еще ни разу не разговаривал по телефону с голым и мокрым эмигрантом. Зовите, мне не терпится.

В трубке было слышно, как женский голос прокричал: «Вика! Тебя какой-то советский писатель! Ленинградский! Виктор!» Затем раздался, вернее, донесся мужской рык: «Что? Черт! Конецкий? Скажи, что я иду!» Мужской рык был с неповторимым одесско-киевско-шпановским акцентом, то есть принадлежать он мог только Виктору Платоновичу Некрасову.

— Алло! Он уже бежит! — доложил женский голос.

— Алло! Это действительно ты? — спросил Некрасов.

— Привет,— сказал я.— Первый раз говорю с мокрым и голым эмигрантом! Просто потрясающе! С тебя капает на кленовый паркет или на персидский ковер?

— Да, ядрить твою мать! Даже на хрустальную люстру капает! Слушай, мне надо вытереться!

— Тогда запиши телефон, буду ждать,— сказал я, ибо звонил из номера отеля и всеми советскими фибрами ощущал, как электронный счетчик отсчитывал франки: во Франции звонить из гостиницы можно только за деньги. А французское МИД, по приглашению которого я находился в отеле «Аэробика», то есть «Авиатик», выдало на все про все 1200 франков — один ужин в приличном ресторане. Ну, а хлебосольная Москва выдала 300 франков — несколько бутербродов с ветчиной и кружек пива. Цены на выпивку и закусь во Франции не идут ни в какое сравнение со стоимостью уцененных пуловеров и тем более колготок — черные, с кружевным развратным рисунком колготки всего-то 20—30 франков. Вот и занимайся арифметикой на старости лет.

Виктор Платонович позвонил через пять минут и назначил свидание на бульваре Монпарнас, дом 59 — кафе «Монпарнас», на 14 часов.

— Найдешь?

— Да. Это два квартала от моего отеля. Знаешь «Авиатик»?

— Нет.

— Улица Вужирард, сто пять.

— Вожирард.

— Ладно, не будем мелочны. До встречи! Да, а в кафе раздеваться надо внизу? Гардероб там или что?

— Нет, эти лягушатники не раздеваются даже в опере. Поднимайся по лестнице на второй этаж и садись к окну, если придешь раньше меня.

— О'кей!

За широким и высоким окном номера густо и монотонно падал парижский снег. 16 января. За бортом минус десять. Национальное бедствие для лягушатников. Снег безжалостно заносил корявые миниатюрные деревца на балкончике дома напротив. Очень симпатично, когда на карнизах, выступах, нишах домовых фронтонов растут зеленые создания.

В Ленинграде остался один-единственный плющ — он оплетает стену Института культуры имени Крупской, выходящую на Марсово поле,— самый живой дом в городе. Сейчас там ремонт, и я боюсь, что последнему плющу, или хмелю, или дикому винограду придет конец, хотя его корни прикрыли дырявым железным раструбом. Сколько раз скользила мысль: если есть один морозоустойчивый плющ, то можно развести их и тысячу, и тянуло тайком отломить веточку, попробовать вырастить у себя на балконе...

В номере было жарко и душно. Краник на отопительной батарее не работал, а если откроешь окно, снег и холод моментально заполняют номер, и ветер задирает шелковое покрывало на широченной двуспальной кровати.

Русского чтива не было. Только три толстенных телефонных молитвенника на тумбочке у изголовья.

Своих подчиненных-спутников я отпустил на все четыре империалистические стороны света.

В отеле было тихо — как на подлодке, которая легла на грунт и заглушила двигатели. Или как утром в городе после ночной бомбежки.

Сквозь занавеску еще минут двадцать мерцал телевизор — как раз столько, чтобы подействовал нембутал, то есть помог мне преодолеть зыбкую мягкость роскошной постели и зыбкую сумятицу мыслей и чувствований. Мне этот (второй раз в жизни) Париж не дарил ни секунды радости. Быть может, из-за снега, и морозца, и плывущих по Сене льдин, застывших автомобилей, на которых побаивались ездить даже таксеры, и мы не вылезали из метро, четверть станций которого была закрыта — забастовка железнодорожников перекинулась и черт теперь знает, на кого еще, под землю...

...Хорошенькие сравнения я нашел, чтобы описать полдневную тишину парижского отеля в январе одна тысяча девятьсот восемьдесят седьмого года!

На втором этаже кафе «Монпарнас» было полупустынно. Я сел к столику у окна, снял дубленку, расположился с удобствами: ждать надо было еще минут пятнадцать.

Через площадь был виден огромный небоскреб, вполне нелепый,— Монпарнасская башня, на пятьдесят втором этаже которой прошлым вечером французская полиция провела эффектную операцию по борьбе с террористической экстремистской группировкой «Аксьон директ». У террористов нашли одиннадцать килограммов взрывчатки — вполне достаточно, чтобы крыша этого нелепого небоскреба взлетела намного выше Эйфелевой башни.

Об этом я раздумывал, когда подошел официант и пересадил меня от приоконного столика в глубину зала. Из иностранного бормотания гарсона я уяснил, что возле окна имеют право располагаться только компании, а не одиночки. Господи, на Родине официанты вечно гоняют от столика к столику, и здесь тоже... Ну вот, домашняя тренировка и пригодилась: я не взорвался, не полез в бутылку, пересел послушно и стал формулировать первую фразу, достойную нашей встречи.

Если Виктор Платонович опоздает, то я скажу: «И это офицер-сапер?!» Если придет вовремя: «Точность — вежливость королей!» Боже, какая пошлятина лезет в голову... Но уж от некоторых тривиальностей я уклоняться не буду и «умом Россию не понять» брякну обязательно.

И брякнул.

Но сперва пятнадцать минут записывал кое-что из впечатлений прошедшего утра, а потом над полом в центре зальца из лестничного люка появилась не покрытая никакими шапокляками знакомая голова, со знакомым волнистым чубчиком и знакомыми усиками. Я опознал его мгновенно. И он тоже мгновенно засек меня.

Ну, обнялись.

Ну, прослезились.

— Зачем ты заказал эту дрянь? — спросил он, брезгливо отодвигая в сторону мой кофе.— Пить будем пиво. И только пиво. Плачу я. Не спорь. Ты у меня в гостях.

Он снял пальто. Из кармана пиджака торчала вязаная шапочка. Шарфа не было. Голая жилистая шея и голая грудь в вырезе до второй пуговицы рубашки.

Французский заказ гарсону пива он пересыпал таким хрипловатым саперским матом, что я несколько раз (невольно) дергал лауреата Сталинской премии за рукав и молитвенно просил сбавить обороты: «Вика, тут же могут быть русские!» Он отмахивался: «Пускай родной речи радуются!»

— Слушай,— спросил я.— У нас говорят, что ты здесь получаешь пенсию как ветеран Отечественной войны в советских инвалютных рублях.

— Чушь. Какая пенсия? Скажи, что там у вас творится с водкой? Вовсе купить нельзя? И это правда, что она подорожала в два раза?

— Ну, тут надо целую лекцию читать,— сказал я.— Особенно если будем пить одно пиво.

— Другого не могу. Возраст.

— Это правда, что последней каплей, которая переполнила твою чашу, был кумачовый плакат над Крещатиком: «Выше роль женщины в сельском хозяйстве республики!»? Говорят, ты увидел этот плакат и заявил, что лучше помереть от тоски по Родине, нежели от злобы на родных просторах?

— Вот только теперь я тебя окончательно идентифицировал. Когда наслышался твоей картавости.

— Не картавость, а мягкое «эль»,— сказал я.— Помнишь, как в Ленинграде, в ресторане «Восточный», теперь отчего-то в «Садко» переименовали, заставлял меня произнести «отоларинголог»?

— Я тогда «Киру Георгиевну» писал. Тому двадцать семь лет прошло. Кира Георгиевна в детстве «эр» не произносила и от «отоларинголога» впадала в транс.

— Я и сегодня эту абракадабру произнести не могу,— сказал я.

Мы шарахнули по первой кружке французского — без всякой водяной примеси — пива; закурили: я — «Космос», Виктор Платонович — свой неизменный «Голуаз», самые крепкие и дешевые французские сигареты, с этаким черным табаком.

— Расскажи-ка про «Новороссийск»,— попросил Некрасов.— Как он потонул? По пьянке, конечно, они столкнулись?

— Какой «Новороссийск»? — не понял я.— Какая пьянка?

— Прости, я спутал. «Нахимов». Здесь писали, что на обоих судах все были пьяные. Они столкнулись на подходе к Новороссийску.

— Ты с ума спятил! На мостике пьяных не бывает, а уж на выходе и подходе к порту...

— Ты сам моряк — вот и защищаешь своих.

— Не неси чушь. К новороссийской беде водка никакого отношения не имеет.

— Слушай, мы же договорились говорить правду. Объясни тогда, как они на ровном месте... Это же такое горе!

— Слушай, мне надо часа два, чтобы тебе что-то объяснить. Да и судебного разбирательства еще не было, я сам толком ничего не понимаю. Я был в рейсе, когда все это случилось. А когда в рейсе получаешь известие о катастрофе, то переживаешь особенно сильно. Точно могу тебе одно сказать: никогда мы не получали таких архидурацких радиограмм, как тогда. Вот это действительно факт, а не реклама.

— Ты все еще плаваешь?

— Эту навигацию отплавал опять в Арктике: Мурманск — Диксон — Тикси — Колыма — Певек — Колыма — Игарка. Два месяца как вернулся.

— Господи, как я тебе завидую! — вырвалось у него.— Два месяца назад был на Колыме?!

Он не только завидовал, он ко мне «проникся». Спросил, конечно, о причине моего появления в Париже. Я объяснил, что обследую разных жен Пикассо.

— Кажись, они не отличались выдающимися умственными достоинствами,— заметил Некрасов.— А ежели грубее, Толстого перефразирую: «Господа, как я понял, все жены Пикассо были достаточно глупы для того, чтобы их любил гений». Хотя каждая соответствует его «периоду», а это не фунт изюма... Ладно, слушай, а как там со жратвой?

— Ужасно. Сухое молоко выдают детям по специ-



альным спискам. Сменим-ка пластинку. Ты же не из тех, кто сует пальцы в рану? Или уже из них?

— Нет, не из них. Но что будет дальше?.. Нет, не спрашиваю. Вряд ли что-либо радостное. А плохое всегда успеваешь узнать.

— Правильно. Тыкать пальцами в раны имеют право только те, кому эти раны принадлежат.

— Это правда, что по телевидению показывали моих «Солдат»?

— Слухи были, но точно я не знаю, ибо сам не видел. А покажут обязательно. И «Окопы» переиздадут — как пить дать. И скоро. Все мы из твоих окопов вылезли, как классические предки из шинели.

Он заплакал и не стал скрывать слезу.

Чужие слезы действуют сильнее собственных. Был нужен перерывчик.

— Мне нравится твоя фасон дэ парле,— сказал Некрасов.

— Что это значит?

— Манера выражаться. Наяривай, наяривай, так тебя и так! А к пиву у меня отношение святое. Оно, может быть, мне жизнь спасло и точку в боевой биографии поставило.

Война!

Снаряды, бомбы, тупица начальник, нерадивые подчиненные, вор старшина. Да и ты сам. Выпей я, например, больше или меньше после того, как попался на глаза пьяному начальнику штаба.

— Э-э, инженер! Давай-ка сюда! Голую Долину надо кровь из носу взять, ясно? Собирай мальчиков, по кустам расползлись,— и вперед, за Родину, за Сталина! Возьмешь — Красное Знамя, не возьмешь — сдавай партбилет, ясно? Выполняй!

Тут-то я заскочил к Ваньке Фищенко, разведчику, ахнул спирта, стало веселее. Мальчиков собрал человек пятнадцать, пистолет в руку и — «За мной!». Кончилось все в медсанбате. А возьми я эту чертову Долину?

Вариантов не счесть. В первый же день, как столкнулся с немцами,— май сорок второго, тимошенковское наступление под Харьковом. Десяток сопливых саперов с трехлинейками образца 1891/30 года против четырех танков с черными крестами. «Справа по одному к роще «Огурец»!» И побежали. Каким дьяволом не подавили нас гусеницами... Или «Хенде хох!» — лагерь, потом другой, свой...

Одно знаю: ни Александром Матросовым, ни Гастелло не был бы, окажись я даже летчиком. Все было куда банальнее. Начал младшим лейтенантом, кончил капитаном. В Люблине. И тоже не слишком героически.

На этот раз было пиво. В подвальчике бойцы расстреляли бочки и пиво выносили ведрами. Мы с начфином присоединились. «Эй, танкисты, холодненького!» В Люблин въехал на броне «тридцатьчетверки». Не дойдя до центра, стала. Чего, спрашивается? Фрицев испугались? Железные, а я из мяса, за мной! И с пистолетом в руке покатился по мостовой. Снайпер! А окажись он попроворнее, и лежать бы мне в Люблине на кладбище воинов-освободителей...

Этим лихим эпизодом и закончилась военная карьера замкомбата 88-го Гвардейского саперного батальона.

Госпиталь. Демобилизация. Инвалид II группы. Карточки, распределители, отоваривания, семья...

...Подведу итоги не сейчас, под женевской сосенкой, а потом, в райских кущах — надо же чем-то там заниматься, а то сдохнешь от скуки».

Один читатель (из глухоманной глубинки) в письме ко мне о Некрасове: «Внешне лохматый, неряшливый, безалаберный, хулиганистый стиль, но правдивость его, незализанность, жизненность запоминаются, даже замечательно запоминаются. В общем-то средняя человеческая жизнь достаточно монотонна, усреднена, в ней не так много звездных мгновений. Но она, жизнь, такая, какая есть в его книгах, которые вышли и после «Окопов». Мусор какой-то, пепельница, окурки, мерзость погоды — именно та человеческая неуютность и цапает за живое, дух упрямства, неустроенности, отсутствие железобетонной сытости (в назидание труженикам)...»

Я бы определил Некрасова словами «изящный хулиган».

...Когда вернулся за столик, он, нацепив очки вроде как в металлической оправе, читал газету «Новое русское слово» за пятницу 26 декабря 1986 года (выходит с 1910 года, цена 40 франков).

Эту газетку Некрасов мне презентовал.

«Ясновидящая Ольга. Отведет несчастье и дурной глаз от вас и вашей семьи. Предсказание. Гадания по ладони, на картах и по чайным листам. Помощь в любви, семейных делах и вопросах здоровья. Не надо переживать, Ольга поможет вам советом незамедлительно. Гарантирован успех. Принимает у себя дома или у вас на дому. Ежедневно. С 8 утра до 10 вечера».

«ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ ТРАДИЦИОННЫЕ ЕВРЕЙСКИЕ ПОХОРОНЫ? В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНТРАКТА НА ПОХОРОНЫ ЗАБЛАГОВРЕМЕННО? На эти и все остальные вопросы, связанные с похоронами, можно получить информацию на русском языке, позвонив по телефону Манхэттен, Бронкс, 406—3311. Старейшее еврейское похоронное бюро. 1895 год, Бруклин, Нью-Йорк».

«Московские коллеги тепло приветствуют Сахарова. Через несколько часов после встречи Сахарова на Ярославском вокзале в МИД СССР состоялась пресс-конференция, на которой западные журналисты спросили заведующего отделом прав человека МИД Юрия Кашлева, что он думает по поводу замечания Сахарова об Афганистане. «Я не вижу в его замечаниях ничего дурного,— ответил Кашлев.— Наше руководство неоднократно заявляло, что мы стремимся как можно скорее разрешить проблему Афганистана. Если он будет честно высказываться по международным проблемам, его никто наказывать не будет».

Из раздела «Юмор»: «У нашего Ханса большая неприятность на военной службе, и все из-за его чрезмерной старательности.

— А что случилось?

— Когда ему приказали вырыть стрелковый окоп, он зарылся так глубоко, что его обвинили в дезертирстве!»

— Беззаботные люди живут здесь и читают эту газетку. Завидую,— сказал я, просмотрев заголовки.

— Да-а-а... а вечером все они серые. Ну, не все, конечно, а те, кто работает и служит.

— В каком смысле серые?

— В прямом. После конца рабочего дня. В метро. Серенькие они, да-а-а... И французики, и наши, так их, так и этак...

— Город зажигает огни,— вымолвил я совершенно случайно, ибо начисто забыл, что под таким названием Венгеров снял фильм по книге Некрасова «В родном городе».

— Дрянной фильм. Олег Борисов только хорош. И Леночка Добронравова красоточкой была.

— А на французском ты писать не пробовал?

— Нет.

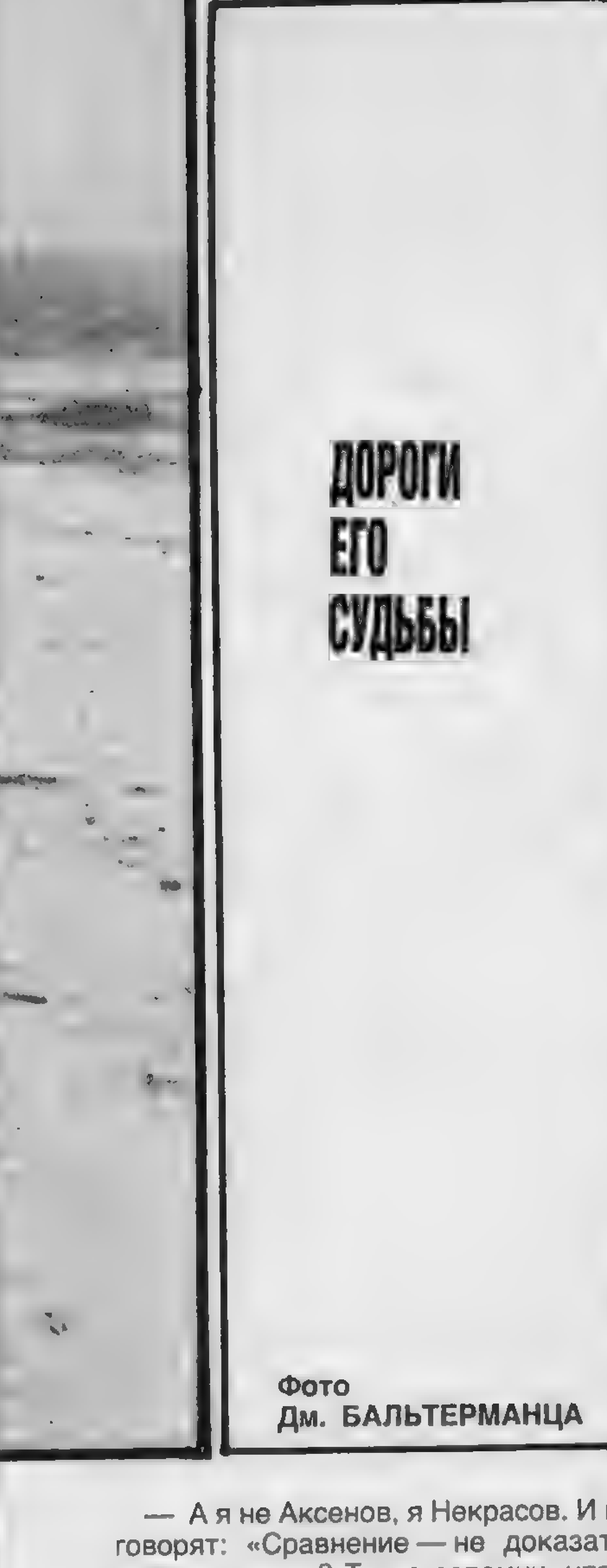
— Ты же его отлично знаешь. Почему не попробовать?

— Потому что я русский.

— Тургенев тоже был русский.

— Увы, я не Тургенев.

— Но вот, говорят, Васька Аксенов уже на американском пишет и как кот в вашингтонском масле.



ДОРОГИ ЕГО СУДЬБЫ

Фото Дм. БАЛЬТЕРМАНЦА



— ...Три штуки только успел. Про шоферов мадридских, про старика, у которого два козла и кошка остались, и третий — про Пако, помните, как два парнишки в бой быков стали играть и Пако напоролся на нож?

— «Рог быка»?

— Ага, «Рог быка»...— Он мучительно наморщил брови.— Вот глупо получилось, а? Просто ужас... На два дюйма только... Сколько это — дюйм?

— Два с половиной сантиметра.

— Значит, на пять сантиметров в сторону, и не попал бы ему в живот... Бывает же такое...— И, помолчав, добавил, глядя куда-то в сторону: — Жаль Пако, хороший парень был.

Больше нам не дали говорить...

Жив ли Лешка? Хочется верить, что да. И что по-прежнему много читает. И тот томик прочел — тогда, в госпитале, или позже, после войны. Не думаю, чтобы Хемингуэй стал его любимым писателем, слишком у того много недоговоренного, а Лешка любил ясность. Но, как это ни странно, в этих двух, столь несхожих людях, в старом прославленном писателе совсем из другого мира и мальчишке-солдате из-под Саратова, мне видится что-то общее. В Лешкином «жаль Пако, хороший парень был», в этой фразе, сказанной через полчаса после того, как немецкий осколок, не отклонившись ни на дюйм, влип ему в руку, для меня звучит что-то по-настоящему мужественное, то самое, что заставило Хемингуэя полюбить своего мадридского шофера Ипполито. Он сказал о нем: «Пусть кто хочет ставит на Франко, или Муссолини, или Гитлера. Я ставлю на Ипполито».

И на Лешку, хочется добавить мне.

Я ставлю на Некрасова.

Я не знаю, насколько он замазан. Это знает КГБ. Но я знаю, что всю жизнь и до самого конца он ставил на Лешку. И этого мне достаточно.

— А не страшно, что здесь похоронят? В чужой земле, навечно?

— Нет. Я, Витя, безбожник. Один черт, где гнить. Я и полюбил этот глупый Париж. Терпеть не могу ширакав, ле пенов с его фашистскими миллионами, забастовщиков и вот всех этих,— он круговым макаром мотнул головой.— Все они засранцы, б..., скупердяи, буржуазная сволочь, все с жиру бесятся, но Париж я люблю.

В моей башке кругообразно завертелось: «Россия без каждого из нас обойтись может, но никто из нас без нее не может обойтись; горе тому, кто это думает, двойное тому, кто действительно без нее обходится». Однако, может, Некрасов уже начитался здесь Набокова, который Тургенева в грош не ставил и ужасался тем литераторам, которые признают Тургенева писателем. Тогда и эти слова упадут в пустоту. Да и вообще цитаты в таком разговоре не аргумент...

На этом корабле есть для меня каюта
И ветер в парусах — и страшная минута
Прощания с моей родной страной...

— Анна Ахматова. «Смерть»? Да?

— Да.

— «Ахматовской звать не будут ни улицу, ни строфу...»

— Насчет улиц не знаю. А новый здоровенный сухогруз уже назвали. Плавает Анна Андреевна по океанам. Порт приписки, кажется, Николаев. Скоро где-нибудь в Сингапуре борт к борту встанем.

— Правда?

— Правда, ибо сам видел в «Известиях» фотографию судна. Подпись, конечно, соответствующая, нечто вроде: «Экипаж теплохода, взяв повышенные... используя скрытые резервы соцсоревнования...»

— Значит, Ахматова все-таки использует скрытые резервы социалистического соревнования? В ее характере. Небось еще один «Реквием» напишет... А знаешь, о чем я сейчас думаю? Как Анна Андреевна, встретившись с Солженицыным, а он ей очень нравился, сказала: «Одно у вас осталось испытание. Испытание славой». Или что-то в этом роде...

— А как ты к нему? И что он делает?

— Впал в политическое детство и в результате выпал как из литературы, так и из политики... А может — обыкновенная старость. Ты Анну Андреевну знал лично?

— Жили несколько раз одновременно в домах творчества, но я робел. Вечно она была окружена интеллигентненькими мальчиками, подававшими гениальные поэтические надежды. Один раз перемолвились. В Комарово. В старом еще, тогда столовка в этаком деревянном бараке была. А в предбаннике пальто вешали. Мороз был жуткий. Висел там ее лапсердак — вытертое нечто, линялое, в проплешинах, этакий енот, который лает у ворот. И выплывает из столового помещения Ахматова с приживалкой. Царственным жестом указывает сперва на меня, потом на лапсердак и говорит державно и капризно: «Конецкий! Подайте мне мои соболя!» Ну, я трясущимися руками подал. И все. Легенький лапсердак был — как наволочка с диванной подушки. С кем из здешних писателей ты общаешься?

— Нет тут никаких писателей — все засранцы.

— А я не Аксенов, я Некрасов. И вообще французы говорят: «Сравнение — не доказательство». Уговорились правду? Тогда запомни, что американцы мне нравятся,— с некоторым вызовом сказал Некрасов.— Эта нация родила Тома Сойера и Хемингуэя. Читал мое «Посвящается Хемингуэю»?

— Так я же специально готовился к встрече с тобой. И перечитал все, что сохранилось дома. И помню, как ты сидел в бетонной трубе у подножия Малахова кургана. И было у тебя четыре книги.

— «Фортификация» Ушакова, «Укрепление местности» Гербановского, «Медный всадник» с иллюстрациями Бенуа, «Пятая колонна и первые тридцать восемь рассказов» Хема.

Герой «Посвящается Хемингуэю» — восемнадцатилетний солдатик-связист Лешка, фамилии Некрасов не запомнил; запомнил, что пацан из какой-то деревеньки под Саратовом...

— Если дам тебе задание,— сказал я,— пять страниц прозы. Война. Сталинград. Любой воспоминательный эпизод. Но записать прозой. Любая выдумка тоже годится, но — проза! Сможешь?

Он отвернулся и погладил свои тусклые, но все еще волнистые волосы, задумался, отключился. Нефтебаки вспомнились? Валега? Фарбер? Смертное братство? Все, конечно, в такие миги вспоминается.

Я боялся, он обозлится на непрошеный тест.

Нет, не обозлился.

Глотнул пива, закурил, сказал:

— Нет, не смогу. И пробовать не буду. У меня к тебе просьба. Вернешься — положи букетик цветов к памятнику «Стерегущему». На Кировском. Я понимаю, сейчас зима. Вот пусть люди идут, на цветки смотрят и удивляются.

О том, какие цепочки воспоминаний и ассоциаций привели его к «Стерегущему», к далекой японской войне, спрашивать не стал.

— Есть, комбат, сделаю,— сказал только.

Юноша напротив заказал еще кофе и зажал в зубах чек, а девушка стала обрывать у его губ прямоугольную бумажку, как билет в автомате парижского метрополитена.

«Когда я нес Лешке книгу Хемингуэя, я невольно спрашивал себя, а поймет ли он этого писателя? Хемингуэй нелегок, не для всех, к тому же, когда я вручал книгу Лешке, выяснилось, что он не имеет ни малейшего представления о бое быков, без чего чтение доброй половины вещей Хемингуэя просто бессмысленно.

Очевидно, это была очень забавная сцена: сидят двое в крохотной землянке батальонного НП, в двух шагах от немцев (в эту ночь Лешка дежурил не на командном, как обычно, а на наблюдательном пункте), курят махорку и разговаривают о матадорах, бандерильеро, верониках и реболерах, о которых один ничего не знал, а другой хотя тоже немногим больше знал, но кое-что читал и видал в детстве картину «Кровь и песок» с участием Рудольфа Валентино.

Часа в два ночи я ушел. Была на редкость тихая, морозная, очень звездная ночь. Немец почти не стрелял, освещал только передний край ракетами, и домой, на берег, я возвращался спокойным шагом, ни разу не присев. И, шагая по истерзанной снарядами и бомбами сталинградской земле, прислушиваясь к монотонному гулу ночных бомбардировщиков — наш или не наш? — и потом, засыпая в своей жарко натопленной землянке, я думал о том, что завтра, к семи ноль-ноль, нужно сдать схему инженерных сооружений, которую, заболтавшись, не успел закончить, о том, как тесно на войне переплелось страшное и забавное, веселое и трагичное, думал о Лешке, возможно, как раз в эту минуту читающем про мадридского шофера Ипполито, не проснувшегося даже тогда, когда рядом с ним разорвался снаряд, о том, что, не будь Лешки, этот хемингуэевский очерк остался бы для меня только прекрасно написанным очерком, а сейчас стал чем-то значительно большим и нужным.

В шесть часов меня разбудил Титков, мой связной,— надо было заканчивать схему.

— А парнишку-то вашего ранило,— подавая мне котелок с кашей, сказал он с тем обычным спокойствием, с каким говорил о смерти ближнего и о полученных на складе двух плитках шоколада...

Лешка лежал на земле, на подстеленной плащ-палатке, очень бледный, потерявший свой девичий румянец, но с обычным для него живым блеском в глазах.

— Где же тебя кокнуло? — спросил я.

— Да там, около насыпи, где мостик, знаете? Ерунда,— он с натугой улыбнулся,— скоро вернусь. А книжка ваша...— Он скосил глаза, показывая, что она у него под головой.— Испортил немного, не сердитесь.

Оказалось, что она слегка испачкана кровью, десятка три страниц, по самому краешку.

— Ничего, это ее только украсит,— сказал я.— А прочесть успел что-нибудь?

И все передрались. Только к Наталье Ильиничне Саррот иногда тянет. Ты ее знаешь?

— Да. Вчера угощала виски. Она добрая. Сказала, что ты давно не был и что любит тебя... А пишешь где?

— Недельки две в году пишу. Недалеко от Барселоны. На самой границе с Испанией дачное такое местечко. Вот книжку тебе принес. Не побоишься везти к нам?

— Нет, нам велят учиться демократии.

Если я чего боялся, так это того, что книжка окажется плохой. Поинтересовался, как к нему относятся французские власти.

— А никак не относятся. Нужен я им... Хотя орденом каким-то наградили — за прилежание в литературе или искусстве или еще черт знает за что. Ну, получил бумагу, поздравления официальные, сижу и жду, когда Калинин вызовет в Елисейский дворец соплю вручать, изучаю наградную грамоту. Неделю сижу, месяц сижу, второй сижу. Не вызывает Михаил Иванович. Наконец — здрасте вам: орден надо в магазине покупать, за свои кровные. Шестьсот франков! Ну, сам понимаешь: чтобы я галантерейным лавочникам шестьсот франков?! Хрен им в глотку. Потом дружки скинулись и повезли в универмаг. Там тебе пожалуйста: и крест эсэсовский, и новозеландскую луну можешь приобрести по наличному расчету.

— Твой-то красивый?

— Красивый, зелененький такой, веселенький. В Сталинграде мне «За отвагу» вручили прямо в блиндаже.

— А как Сталинскую вручали?

— А ты мою «Маленькую печальную повесть» не читал? Нет, конечно. Хотя при чем тут «Маленькая печальная», это в «Саперлипопете». Книжка у меня такая. Ее тебе и принес. Сейчас вспомню, как в сорок седьмом вручали нам премии. Увы, и не торжественно, и не в Кремле, а через окошко мхатовского администратора тов. Михальского. Он по совместительству был секретарем Комитета по Сталинским премиям. Я постучал в это самое окошко, к которому с трепетом подходил в студийные еще годы в надежде попасть на «Турбиных»... Кстати, это правда, что у вас поставили «Турбиных» на телевидении?

— Увы, да. Булгаков волчком в могиле вертится с тех пор.

— Следовало ожидать,— заметил Некрасов.— Я расписался и взял свои коробки. В большой был диплом. В маленькой золотая (так говорили) медалька с профилем вождя. С этого момента, точнее — дня (шестого июня сорок седьмого года), все издательства Союза, вплоть до областных и национальных, стали включать книгу в планы.

— Знаю я этот автомат. Он и сегодня работает.

— Зато следствий не знаешь. Когда я сюда добрался, парижское «Фигаро» сообщило, что прибыл личный друг Сталина, член ЦК и миллионер в советских рублях. Миллионером не стал.

— Ну а на что живешь?

— Ну не на книжки же свои, кому они здесь нужны,— ответил Некрасов.

«Он привык и к тому, что не принято в этой стране стрелять друг у друга трешку. Исключено. Начисто. Это и удивляло, и раздражало. Не принято забегать на огонек, о встречах условливаются за месяц, водки не пьют, пол-литра на троих для них смертельная доза, в метро место даме не уступают, и это галантные французы, где ж д'Артаньяны? Обнаружил только одного, бронзового, на памятнике Дюма-отцу. И вообще французы оказались куда замкнутее, куда прижимистее, чем он ожидал. И бесцеремоннее в то же время. Долго не мог привыкнуть к поцелуям на каждом шагу — в метро, в магазине, на улице остановятся, обнимутся ни с того ни с сего — и взасос...»

Господи! — подумалось мне на этом месте,— может быть, и наш Леонид Ильич Брежнев — француз?

Ты вообще умел жить? Ну раньше, дома, в самые удачливые моменты?

— Здесь говорят «савуар вивр». Нет, не умел.

— Что читаешь?

— «Комсомолку» и Дюма.

— А из наших прозаиков?

— Один другого лучше! Воробьев, Кондратьев, Быков, Астафьев, Распутин. Распутину, как прочитал «Уроки французского»; в Женеве это было, сразу ему посылку послал, анонимно. Альбом с живописью и кое-что вкусненькое: макароны и искусственные яблоки, очень косой был — вот искусственные и послал. Увидишь — скажи, что от меня. Теперь, верно, это уже ему не опасно будет. А что там у Астафьева с Эйдельманом?

— Оба — и Эйдельман, и Астафьев — с жиру бесятся, как твои французы здесь. Ну, а кто из отщепенцев вернется, если позволят?

— Никто. Разве только Любимов... Ты хоронил Гаврилыча?

— А кто это?

— Иванов, «Солдат» ставил.

— Нет, не хоронил. Не было меня в Ленинграде. Да мы с ним и несколько разладились: очень уж дрянной фильм по моему рассказу поставил. Старость.

— Сколько сейчас Астафьеву?

— Шестьдесят три.

— Мальчишка. Его «Печальный детектив» я под подушку засунул, когда читать кончил. Еще совпадение у нас с ним роковое. Мой последний опус тоже печальный. Так и называется «Маленькая печальная повесть».

— Подаришь?

— Нет, я же тебе другую книженцию приготовил. А с Астафьевым ты лично знаком?

— Да. Всего два месяца назад был у него в Овсянке под Красноярском. Пролетом из Игарки. А кто у вас здесь самый талантливый?

— Талантливых, может быть, и много, а книг хороших нет. Одну назову — роман Сергея Довлатова.

— Что Аксенов?

— А ну их всех в...

— А твой шеф Максимов?

— Максимов? Я с ним в разрыве. Но прохиндей он идейный, и плохого, на радость тебе, о нем говорить не буду, хотя ни одного французского слова так и не впитал в свою башку. А «Континент» закатывается. Да и Владимов подсидел — хороший журнал в ФРГ делал. Хочешь, дам его телефон во Франкфурте? Позвони. Жоре сейчас плохо, боссы из НТС ему под дых дали — в дерьме на тротуаре кукует.

— Ну, давай,— сказал я, хотя знал, что звонить не буду.

Он продиктовал.

— У тебя отличная память.

— Дерьмо, а не память. Просто утром звонил ему.

— Скажи мне, кого там в Ленинграде надо подтолкнуть,— сказал я.

— Замнем для ясности,— сказал Некрасов.— А как твои издательские дела?

Я похвастался, что с будущего года должен выходить четырехтомник.

— Ну, до полного собрания вряд ли доживу,— сказал Некрасов.— А внуку через месяц двадцать. Звать — Вадик. Он в армии, но не сапер, и порядки здесь такие, что каждый уик-энд приезжает домой. Вид сытый и довольный.

— Кто папа?

— Инженер-шахтостроитель, но работает сейчас в основном по линии переводов. Мама преподает русский в лицее. А вот что будет делать этот чертов Вадик после армии — не совсем понятно, так его в этак и переэтак. Ни в отца, ни в деда не пошел — без книг свободно обходится. Но руки умелые. И вообще парень симпатичный. Есть девушка — француженка. К брачным узам только, подлец такой, что-то не очень стремится. Я, правда, тоже не стремился.

— На Новый год соленые грибы были у тебя?

— Постарайся понять, я не офранцузился, но парижанином стал... Седею что-то быстро. И болею. То что-то, то, как видишь, кашель, то еще какая-нибудь хреновина. Но, видишь, живу и даже пишу. Пишу не длинно, не утомительно — это главный грех всех нынешних писателей. Хвастаться нечем, но и жаловаться не буду. Про березки спрашивать будешь? Про мою тоску о них?

— Буду.

— Их тут полно. «Було» называются. А вот как плакучая или кудрявая, не знаю. Может, ее-то и нет. Ну и хрен с ней, зато... Что зато? Вика, дорогой мой Викуля, поверь мне, не мучает меня совесть. Ну вот нисколечко. Прозрачна и чиста, как слеза младенца.

«И все же — это уже наедине — он иногда спрашивал себя: стоило или не стоило? Нет, что стоило — это ясно, но насколько оправдались или не оправдались ожидания, как прошел процесс переселения из одной галактики в другую, одним словом, что такое эмиграция, понятие, которое всю жизнь пугало и казалось для нормального человека противоестественным? Шаляпин, Рахманинов, Бунин, Бенуа, Куприн, Михаил Чехов, всех и не перечислишь,— все они, каждый по-своему, тосковали по дому, по прошлому. Правда, в основном по тому, что было «сметено могучим ураганом», даже по осуждаемому всеми приличными людьми самодержавию. Нынешние эмигранты в несколько другом положении».

— Ну, а если бы тебе предложили, вернулся? — спросил я.— Только, бога ради, не подумай, что я облечен какими бы то ни было полномочиями выяснять это.

— Сегодня у вас Горбачев...

Вот видите, что значит по памяти пытаться передавать диалог. На самом деле он сказал «у нас».

— Сегодня у нас Горбачев, а завтра опять Брежнев. Высадись где-нибудь в Коктебеле, допустим, отец и учитель, как в свое время Наполеон с Эльбы. Сто дней... Помнишь? Французские газеты писали вначале: «Узурпатор высадился в бухте такой-то», а через сколько-то там дней — «Его Императорское Величество вступает в Париж!». Солдаты, посланные Бурбонами задержать его, падали на колени, рыдали. Маршал Ней — тот самый, любимец, а потом враг,— тут же перешел на его сторону. А Наполеон шел и выходил первым — «Стреляйте в своего императора!». Так вот, я боюсь, что случись такое сейчас со Сталиным, окажись он живым — допустим такую петрушку,— на руках внесли бы в Кремль. И опять меня на Крещатике, трезвого, спровоцируют в милицию, кинут там банок и еще хвост отправят в горком.

— И такое было? — спросил я.

— И не один раз. А вот если бы пустили на неделю проститься. Эх, один раз пройти по Невскому, и к «Стерегущему», и к нашему дурацкому московскому ЦДЛу... Только на Киев я даже из самолета смотреть бы не стал. Похуже твоего Ленинграда мой Киев.

То, что он не миллионер, я понял и без объяснений.

Приезжал и уезжал Виктор Платонович каждый раз на метро. Домой к себе не приглашал. Или, как уже истый парижанин, предпочитал общение в кафе, или же не хотел показывать мне жилье. Думаю, оно скромненькое. На такую мысль наводит то, что в телефонную трубку я слышал шум душа из ванной комнаты. Но и бедняком Некрасова не назовешь, ибо он много летал по миру, а это дорогое удовольствие. Особенно всякие Австралии и Новые Зеландии...

— Не побоишься? — опять спросил он, показывая книжечку со своим фото на обложке. На обложке Некрасов был точно таким, каким сидел напротив меня через столик в кафе «Монпарнас».

Книжка называется не без выпендривания — «САПЕРЛИПОПЕТ, или ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ, ДА ВО РТУ РОСЛИ ГРИБЫ...»

— Я же тебе десятый раз объясняю: нас учат демократии,— сказал я.— Надписывай, пожалуйста.

Он надписал: «Дорогому Вике Конецкого от Вики Н... Paris 17/1 87».

Падежное окончание «кого» вместо «кому» говорит о том, что шесть или даже семь кружек парижского пива в некотором роде заменяют русское поллитра.

— Небось в аэропорту в мусорную корзину бросишь? — настаивал Виктор Платонович.

— Нет, и в прежние времена твою книжку никогда не бросил бы.

— Сначала прочитай. Может, все-таки лучше будет бросить.

Он за меня беспокоился и боялся.

— Ладно, прочитаю до отлета,— сказал я и примолк, ибо приближался сложный момент расставания. Я собирался подарить его сыну свой на 100 процентов советский шарф и запонки, но опасался, что Некрасов сочтет это отплатой за угощение и вообще чем-то оскорбительным для бедного эмигранта.

Но когда я протянул ему шарф и выстегнул из манжет запонки, он ни оскорбленно, ни недоуменно вести себя не стал. Просто сказал:

— Спасибо. Сыну будет приятно. Он у меня русский парижанин. Как и я. А вот внук уже француз...— И сунул шарф в карман пальто.

— Ей-богу, страшно на твою голую грудь смотреть,— сказал я.— Пока-то накинь шарф на шею.

Этот совет он проигнорировал, а меня отдарил авторучкой-фломастером.

— Если книжку отберут, то хоть ручка останется,— сказал он.

— Я же глава официальной делегации. Таких у нас в таможне не досматривают. Забыл уже?

Этой ручкой я стараюсь вовсе не писать, чтобы она дольше жива была, чтобы дольше заправка не кончалась. И она все еще жива и сегодня. Черная изящная ручка, хотя и обыкновенный ширпотреб.

На улице расстались не сразу. Искали антиникотиновый мундштук для Гии Данелия. Обошли штук пять табачных магазинов, но такой, как Гия просил, не обнаружили.

Это Некрасова расстроило.

Обнялись у черной дыры метро, стоя в рыхлом снежном сугробе по колено.

Парижане брели сквозь метель, как наполеоновские гвардейцы через Березину.

«Помру — отволокут на Сен-Женевьев-дю-Буа — там хорошая компания: и Бунин, и Мозжухин, Мережковский, дроздовцы, Галич...»

Продолжение на стр. 28.

НЕИЗВЕСТНАЯ ПОЭТЕССА

Леонид ТАГАНОВ

АННА БАРКОВА



Анна Баркова, 70-е годы.

Анна Александровна Баркова. Это имя мало что говорит сегодня даже знатокам советской поэзии. Впрочем, стоит ли этому удивляться? Кому, кроме узких специалистов, известен небольшой сборник «Женщина» — единственная поэтическая книга А. Барковой, вышедшая в 1922 году в Петрограде? Правда, здесь есть одно «но». Предисловие к этой книге писал не кто иной, как сам Анатолий Васильевич Луначарский. И написано это предисловие с той мерой критической влюбленности в талант молодой поэтессы, которая даже для Луначарского составляет некую чрезвычайность. «Трудно поверить, что автору этой книги 20 лет» — так начинается это предисловие. И дальше идет открыто восторженное: «Посмотрите: А. А. Баркова уже выработала свою своеобразную форму, у нее совсем личная музыка в стихах — терпкая, сознательно грубоватая, непосредственная до впечатления стихийности.

Посмотрите: у нее свое содержание. И какое! От порывов чисто пролетарского космизма, от революционной буйственности и сосредоточенного трагизма, от острого до боли прозрения в будущее до задушевнейшей лирики благородной и отвергнутой любви». Еще раньше тот же Луначарский в письме к Барковой от 16 декабря 1921 года написал: «Я вполне допускаю мысль, что Вы сделаетесь лучшей русской поэтессой за все пройденное время русской литературой»[1]. Какие слова! И тем не менее приходится писать о поэтессе, которую почти никто не знает. В чем дело? Может быть, Луначарский слишком высоко авансировал творческие возможности Барковой и автор книги «Женщина» данные авансы не оправдал? Ведь нельзя же десяток с небольшим стихотворений, напечатанных после первого сборника на журнальных страницах, считать за полноценное продолжение литературного дебюта Барковой, дебюта, который, кстати сказать, был положительно отмечен не только Луначарским, но и Блоком, Брюсовым, Воронским? Такой вывод, наверное, и мог бы быть правомерным, если бы сегодня не приоткрылось то, что стоит за внешней, печатно обнародованной историей этой поэтической судьбы. Открывшееся поражает...

Первый свой срок она получила в 1934 году. Спустя пять лет вышла. Потом война, оккупация. И вновь лагерь: 1947—1956. 7 января 1956 года ее освободили с поражением в правах на пять лет. Нескольких неосторожных по тем временам строк в частном письме оказалось достаточно для третьего срока: 1957—1965.

Двадцать пять лет, за малым вычетом, поэтесса находилась в местах заключения по той самой жестокой знаменитой пятьдесят восьмой и примыкающей к ней статьям. Только благодаря А. Т. Твардовскому дело Барковой оказалось наконец-то пересмотрено. Чуть более десяти лет суждено было прожить ей после реабилитации. Умерла она в 1976 году. Одна, без семьи, без родственников, прожила она остаток жизни в коммунальной квартире в Москве на Суворовском бульваре. В ту пору я и увидел ее впервые... Представлялось: выйдет навстречу несчастный, раздавленный железным колесом жизни человек, у которого все в прошлом. Представлялось: я начну говорить, и ей приятно будет узнать, что память о ее поэтическом дебюте живет в Иванове, откуда она родом. И пойдут разговоры о том, как все это было. ...Получилось по-другому. Не было теплых воспоминаний. Более того, приход «доцента», «историка литературы» вызвал у Анны Александровны, если не раздражение, то какое-то сердитое недоумение. В ее маленьких глазах-буравчиках читалось: «Неужели кому-то еще интересно мое прошлое? Ну, забыли и забыли...» Понадобилась не одна встреча, не одно письмо, чтобы стала понятна первоначальная суровость Барковой. За ней стояло нежелание быть только в прошедшем времени. Она отстаивала свое право жить в НАСТОЯЩЕМ, ибо никогда и никуда из современности не уходила и жила в ней до конца так, как и надо жить поэту: жила творчеством, жила стихом... Постепенно стала приоткрываться потрясающая цельность этой трагической жизни. Ее начало и конец вдруг оказались сведенными в далекой мерцающей звездочке...

Иногда кажется: Баркова сама, сознательно выбрала этот странный, жестко-уникальный сюжет судьбы неизвестной поэтессы, чье полузримое присутствие волнует и мучает окружающих, не укладываясь в какие-то определенные рамки. Еще в юности обнаружилось в Барковой нечто такое, что к ней тянуло и вместе с тем отталкивало окружающих. Дочь сторожа одной из ивановских гимназий, человек, вышедший из самых низов города, она изначально несла в себе некую тайную тревогу. «...Огненно-красная, со слегка вьющимися волосами длинная коса, серьезные, с пронзительным взглядом глаза» — такой запомнилась гимназистка Баркова одной из своих сверстниц. А еще она запомнилась тем, что в четырнадцать лет вела записки, которые назывались «Дневник внука подпольного человека». Стихи гимназистки Барковой до нас не дошли, но в них, по воспоминаниям, были отсветы творчества Эдгара По, Оскара Уайльда, Федора Сологуба. Впоследствии Баркова, вглядываясь в начало своей жизни, напишет:

Что в крови прижилось,
то не минется,
Я и в нежности очень груба.
Воспитала меня в провинции
В три окошечка мутных изба.

Городская изба, не сельская,
В ней не пахло медовой травой,
Пахло водкой, заботой житейскою,
Жизнью злобной, еле живой.

Только в книгах открылось
мне странное,
Сквозь российскую серую пыль,
Сквозь уныние окаянное
Мне чужая открылась быль.

Золотая, преступная, гордая
Даже в пытке, в огне костра...[2]

В сборнике Барковой «Женщина» было много такого, что давало основание зачислить ее в разряд самых страстных ниспровергателей проклятого прошлого. Здесь и метельная стихия в духе «Двенадцати» Блока (образ русской азиатки). Здесь и пролеткультовский космизм в его, так сказать, женском варианте (мотив величавой женщины из будущего, чей приход несет измученным сестрам «победительный праздник земной»). Здесь и гимн красноармейке, которая «с красной звездой на рукаве» идет в освободительный бой. И впрямь, как выразился о Барковой один из критиков двадцатых годов, перед нами Жанна д'Арк новой поэзии. Но почему же тогда так неприязненно встретила «Женщину» революционно-пролеткультовская братия, те, кто, казалось бы, в первую очередь должен был радоваться выходу в свет сборника Барковой?.. «Пролеткультовцы приняли в штыки мои стихи (а читал их в Доме печати, том же самом, что сейчас Дом журналистов, А. В. Луначарский 5 июня 1922 г.),— писала мне в одном из своих писем Анна Александровна.— Все обвинения свалились на мою голову: мистицизм, эстетизм, индивидуализм, полнейшая чуждость пролетарской идеологии и, разумеется, «пролетарской» поэзии.

В защиту мою выступил только покойный Б. Пастернак... Заревые, Огневые (фамилий я их не помню) усердно громили меня». Самое интересное заключалось в том, что, отвергая от себя поэзию Барковой, Заревые, Огневые оказывались более проницательными, чем те критики, которые хвалили молодую поэтессу за прямолинейную революционность. Не было прямолинейности в «Женщине»! В том-то все и дело, что «отвлеченный романтизм... эпохи бездомного военного коммунизма» (слова Барковой, сказанные о своей ранней поэзии) сочетался в ее первом сборнике с трагическим предчувствием будущего, в котором все будет неизмеримо сложней и где саму поэтессу ждет казнь за то, что она не такая, как все, «за смех над глупцами», «за то, что посмела переплавить любовь в стихи». «Прокаженная» — так называется финальное стихотворение сборника «Женщина».

Во второй половине 20-х годов она все дальше отходит от патетики «отвлеченного романтизма». В данном случае этот отход вряд ли объясняется известными «гримасами нэпа», напугавшими тогда многих романтически настроенных поэтов. Баркову тревожит не внешняя перекраска времени. Ее пугает наступление безжалостной прозаической эпохи, ставящей крест на человеке, который ощутил революцию как звездный час освобождения от духовного рабства. И здесь по-своему давала о себе знать реакция на вызревание страшной антигуманистической власти, называемой сегодня культом личности. Баркова раньше многих поняла черную бездну этой власти. Раньше многих поняла развращающую силу ненависти, которая оправдывается «могучими словами».

Пропитаны кровью и желчью
Наша жизнь и наши дела,
Ненасытное сердце волчье
Нам судьба роковая дала.
Разрываем зубами, когтями,
Убиваем мать и отца.
Не швыряем в ближнего камень —
Пробиваем пулей сердца.
А! Об этом думать не надо?
Не надо — ну, так изволь:
Подай мне всеобщую радость
На блюде, как хлеб и соль.

Понятия и образы, нередко положительные в поэзии Барковой первых лет революции, начинают все чаще оборачиваться своим коварно-бесовским подтекстом. Вот и здесь: убийство матери

[1] Письма А. В. Луначарского к поэтессе Анне Барковой (публ. Вл. Борщукова). Изв. АН СССР. Отделение лит. и яз. М., 1959, т. 18, вып. 3, с. 255.

[2] Все стихи в статье и в подборке, за исключением стихов из сборника «Женщина», публикуются впервые.

и отца равно всеобщей радости... Нет, это, вероятно, дано только поэзии: увидеть из двадцать пятого года кровавый тридцать седьмой!..

...Зна́ком поэтической непредсказуемости отмечены лагерные стихи А. Барковой 30-х годов. Перед нами словно бы другая поэтесса. Никогда еще ее стихи не были так литературно выверены, балладно отточены, как в это время. Ее лирическая героиня смотрит на мир с вековой вышки и гордится своей недоступностью. Откуда же эта гордая и даже гордо-надменная осанка у человека, оказавшегося в крайних условиях людского быта? Вчитаемся в одно из стихотворений Барковой, написанное в это время. Оно многое может объяснить:

Степь, да небо, да ветер дикий,
Да погибель, да скудный разврат.
Да. Я вижу, о боже великий,
Существует великий ад.
Только он не там, не за гробом,
Он вот здесь окружает меня,
Обезумевшей вьюги злоба
Горячее смолы и огня.

Караганда, 1935.

С течением времени «великий ад» обретает у поэтессы все более зримые черты земного существования. Барак есть барак, хотите знать правду — знайте. Читайте «Загон для человеческой скотины» — рассказ о последнем унижении арестантки, заканчивающийся одним из самых трагических афоризмов XX века: «Нет, лучше, лучше откровенный выстрел, Так честно пробивающий сердца». Все есть в тех стихах: и желчь, и горечь, и несокрушимое человеческое достоинство. Но вот вопрос: чем же укреплялось оно — это достоинство? Характером? Идеей? Чувством взаимосвязанности с тысячами таких же несчастных, но оставшихся и в несчастье людьми? Наверное, и первым, и вторым, и третьим...

Баркова не мыслила себя вне истории. Только ее история не была похожа на историю, тиражируемую в сталинском «Кратком курсе». Она чувствовала себя не объектом, а субъектом исторической жизни, а потому и писала в стихотворении «Герои нашего времени»:

Все мы видели, так мы выжили,
Биты, стреляны, закалены,
Нашей родины злой и униженной
Злые дочери и сыны.

Самое мучительное в поэзии Барковой — это сознание того, что страшный опыт ее жизни, равно как и опыт тысяч других товарищей по судьбе, не в силах изменить окружающего. Особенно остро это сознание — в последних стихах Барковой. Все чаще возникает здесь зловещий образ черной синевы, перечеркивающий самый радостный для поэтессы золотой цвет:

Сумерки холодные. Тоска.
Горько мне от чайного глотка.
Думы об одном и об одном
И синеет что-то за окном...

Я густое золото люблю,
В солнце и во сне его ловлю,
Только свет густой и золотой
Будет залит мертвой синевой.

Прошлого нельзя мне возвратить.
Настоящим не умею жить.
У меня белеет голова,
За окном чернеет синева.

Близко знавшая Баркову в последние годы Л. М. Садыги, извещая о смерти Анны Александровны, писала мне: «Этот счет закрыт: 16/VII-1901 — 29/IV-1976. Умирала она долго и трудно. В больнице к ней относились удивительно, просто идеально, но с ней случилось то, что случилось со многими, кто побывал в тех местах, где бывала она.

Один русский писатель сказал, что человек, побывавший там, если попадет в больницу, не сможет выговорить слово «палата», а выговаривает «камера».

...То же самое случилось с Анной Александровной. Она вновь прошла по всем кругам ада. За ней следили в глазок, она слышала голоса друзей, которых допрашивали за стеной, ее отправляли в этап, устраивали шмоны, вертухаи переговаривались за дверью, таскали ее по ночам на допросы, она отказывалась подписывать протоколы... Однажды за ней не уследили, и она (не в бреду, а наяву) спустилась с 3-го этажа и упала внизу, где ее подобрали. Объяснила она это так, что отстала от партии, которую водили в баню, и пыталась догнать...

Я нашла у нее дома записанные на клочке такие строки:

Как пронзительное страданье
— “ — нежности благодать.
Ее можно только рыданьем
Оборвавшимся передать.

Я принесла этот клочок в больницу, чтобы спросить, какое вставить слово, хоть и не надеялась на то, что она поймет меня. Это было 23/IV, она была в совершенном бреду. На всякий случай я прочла ей эти строки. Морщась от боли, она тут же отозвалась: очень простое слово вставьте — «Этой».

Как пронзительное страданье
Этой нежности благодать.
Ее можно только рыданьем
Оборвавшимся передать.

...В самом начале болезни Анна Александровна уже понимала, к чему идет дело, и однажды она сказала мне: «Не хочу так. Хочу, чтобы отпевали». Ее отпевали в церкви...

Баркова выбрала судьбу неизвестной поэтессы, но она не желала быть поэтессой забытой. Пройти по всем мукам ада, умирать и воскресать, так любить и так ненавидеть и при этом остаться неуслышанной — это ужасало Баркову. И она мстила, казалось, самой поэзии за невозможность стать той единственной реальностью, через которую явлено все. Она могла быть небрежной в стихах, рифмовать «машину» с автомашиной, до крайности прозаизировать стих — вплоть до какого-то клинического воспроизведения в нем истории болезни. Она отрицала комфортабельность в чем угодно, в том числе и в литературе. Поэтому ее путь не мог никогда совпасть полностью с путем тех, для кого культура — родной дом, спасающий в самую трудную минуту от ледяного, жестокого ветра жизни. Баркова просто не могла существовать без этого ветра. Она была частью его. Он был для нее поэзией. Он не может быть не услышан — метельно-мятежный голос Анны Барковой!

Хоть в метелях душа разметалась,
Все отпето в мертвом снегу,
Хоть и мало святым осталось,—
Я последнее берегу.
Пусть под бременем неудачи
И свалюсь я под чей-то смех,
Русский ветер меня оплачет,
Как оплакивал нас всех.
Может быть,
через пять поколений
Через грозный разлив времен
Мир отметит эпоху смятений
И моим средь других имен.

Мы в долгу перед поэтессой, о которой А. В. Луначарский написал в своем предисловии к «Женщине»: «Я нисколько не рискую, говоря, что у товарища Барковой большое будущее...»

Анна БАРКОВА

В БАРАКЕ

Я не сплю. Заревели бураны
С неизвестной забытой поры,
А цветные шатры Тамерлана
Там, в степях...
И костры, костры.

Возвратиться б монгольской царицей
В глубину пролетевших веков,
Привязала б к хвосту кобылицы
Я любимых своих и врагов.

Поразила бы местью дикарской
Я тебя, завоеванный мир,
Побежденным в шатре своем царском
Я устроила б варварский пир.

А потом бы в одном из сражений,
Из неслыханных оргийных сеч
В неизбежный момент пораженья
Я упала б на собственный меч.

Что, скажите, мне в этом толку,
Что я женщина и поэт?
Я взираю тоскующим волком
В глубину пролетевших лет.

И сгораю от жадности странной
И от странной, от дикой тоски.
А шатры и костры Тамерлана
От меня далеки, далеки.

Караганда, 1935.

* * *

Загон для человеческой скотины.
Сюда вошел — не торопись назад.
Здесь комнат нет. Убогие кабины.
На нарах бирки. На плечах — бушлат.

И воровская судорога встречи,
Случайной встречи, где-то там,
в сенях.
Без слова, без любви.
К чему здесь речи?
Осудит лишь скопец или монах.

На вахте есть кабина для свиданий,
С циничной шуткой ставят
там кровать:
Здесь арестантке, бедному созданью,
Позволено с законным мужем спать.

Страна святого пафоса и стройки,
Возможно ли страшней и проще
пасть —
Возможно ли на этой подлой койке
Растлить навек супружескую
страсть!

Под хохот, улюлюканье и свисты,
По разрешенью злого подлеца...
Нет, лучше, лучше откровенный
выстрел,
Так честно пробивающий сердца.

1955

* * *

Не сосчитать бесчисленных утрат,
Но лишь одну хочу вернуть назад.
Утраты на закате наших дней
Тем горше, чем поздней.

И улыбается мое перо:
Как это больно всё и как старо.
Какою древностью живут сердца.
И нашим чувствам ветхим нет конца.

1955

* * *

Восемь лет, как один годочек,
Исправлялась я, мой дружочек.
А теперь гадать бесполезно,
Что во мгле — подъем или бездна.
Улыбаюсь навстречу бедам,
Напеваю что-то нескладно,
Только вместе ни рядом, ни следом
Не пойдешь ты, друг ненаглядный.

1955

ТОСКА ТАТАРСКАЯ

Волжская тоска моя, татарская,
Давняя и древняя тоска,
Доля моя нищая и царская,
Степь, ковыль, бегущие века.

По соленой Казахстанской степи
Шла я с непокрытой головой.
Жаждущей травы предсмертный
лепет,
Ветра и волков угрюмый вой.

Так идти без дум и без боязни,
Без пути, на волчьи на огни,
К торжеству, позору или казни,
Тратя силы, не считая дни.

Позади колючая преграда,
Выцветший, когда-то красный флаг,
Впереди — погибель, месть, награда,
Солнце или дикий гневный мрак.

Гневный мрак, пылающий кострами,
То горят большие города,
Захлебнувшиеся в гнойном сраме,
В муках подневольного труда.

Все сгорит, все пеплом поразвеется.
Отчего ж так больно мне дышать?
Крепко ты сроднилась с европейцами,
Темная татарская душа.

1954

* * *

Люблю со злобой, со страданьем,
С тяжелым сдавленным дыханьем,

С мгновеньем радости летучей,
С нависшею над сердцем тучей,

С улыбкой дикого смущенья,
С мольбой о ласке и прощеньи.

1954

БЛАГОПОЛУЧИЕ РАБА

И вот благополучие раба:
Каморочка для пасквильных
писаний.
Три человека в ней. Свистит труба
Метельным астматическим дыханьем.

Чего ждет раб? Пропало все давно,
И мысль его ложится проституткой
В казенную постель. Все, все равно.
Но иногда становится так жутко...

И любит человек с двойной душой,
И ждет в свою каморку человека,
В рабочую каморку. Стол большой,
Дверь на крючке, замок-
полукалека...

И каждый шаг постыдный так тяжел,
И гнусность в сердце углубляет
корни.
Пережила я много всяких зол,
Но это зло всех злее и позорней.

1954

* * *

Опять казарменное платье,
Казенный показной уют,
Опять казенные кровати —
Для умирающих приют.
Меня и после наказанья,
Как видно, наказанье ждет.
Поймешь ли ты мои терзанья
У неоткрывшихся ворот?
Расплющило и в грязь вдавило
Меня тупое колесо...
Сидеть бы в кабаке унылом
Алкоголичкой Пикассо...

17.09.55.

* * *

Такая злоба к говорящей своре,
Презрение к себе, к своей судьбе.
Такая нежность и такая горечь
К тебе.

В мир брошенную — бросят в бездну,
И это назовется вечным сном.
А если вновь вернуться? Бесполезно:
Родишься ТЫ во времени ином.

И я тебя не встречу, нет,
не встречу,
В скитанья страшные пущусь одна.
И если это возвращенье — вечность,
Она мне не нужна.

15/XII-75

Публикация А. Агеева и Л. Таганова.



СТАРАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ РЕКА, ЗАЧАТАЯ В НЕМЫСЛИМОЙ ДАЛИ НЕПРИМЕТНЫМ РОДНИКОМ, ВОБРАЛА В СЕБЯ МИЛЛИОНЫ ДРУГИХ РОДНИКОВ И СОТНИ ПРИТОКОВ И НИЖЕ АСТРАХАНИ ПРЕВРАТИЛАСЬ В МОРЕ. НЕ БУДЬ ВОЛГИ, НЕ БЫЛО БЫ И КАСПИЯ. ОНА, ЭТА МОГУЧАЯ РЕКА, ХРАНИТ ПАМЯТЬ ОБО ВСЕХ ЖИВУЩИХ НА ЕЕ БЕРЕГАХ, НО ОНА ТЕКЛА ЗДЕСЬ ЕЩЕ ДО ПОЯВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА. И ПОТОМ ВЕРНО СЛУЖИЛА ЕМУ МНОГИЕ ВЕКА... РАЗНОЕ ПОМНИЛА РЕКА: И ТРЕПЕТ ЧЕЛОВЕКА ПЕРЕД ЕЕ СИЛИЩЕЙ, И ПОБЕДНЫЕ ФАНФАРЫ В ЧЕСТЬ ПЕРЕКРЫТИЯ ЕЕ ПЛОТИНАМИ. НО В НАШИ ДНИ ВЫПАЛО НА ЕЕ ДОЛЮ НОВОЕ ИСПЫТАНИЕ. ИСПЫТАНИЕ ЧЕРНОЙ ЛЮДСКОЙ НЕБЛАГОДАРНОСТЬЮ...

МЕРТВАЯ ВОДА



ПРИРОДА И МЫ

Юрий ЛУШИН,
Александр НАГРАЛЬЯН (фото),
специальные корреспонденты «Огонька»

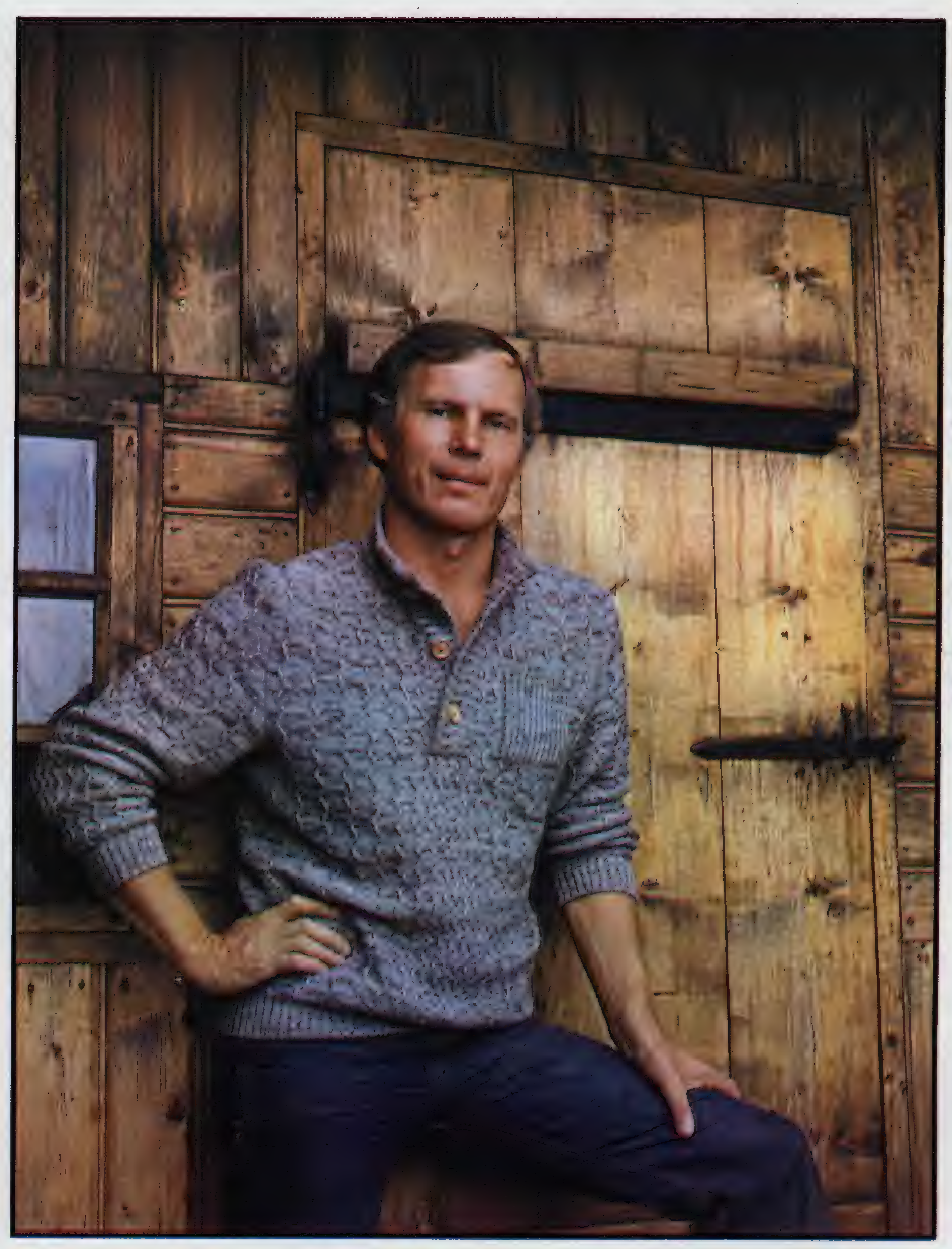
Рыбы было много, даже очень много. Что привело ее в этот тихий омут? С высокого волжского берега я смотрел на медленное кружение воды, на подмытые и рухнувшие деревья, в ветвях которых играли мальки. Рядом с ними — огромные осетры и еще более огромные белуги, изящные севрюги и похожие на откормленных поросят сазаны, светлополосатые судаки и темные стерляди; знаменитая волжская селедка соседствовала с полутораметровым сомом. Хищники и их потенциальные жертвы, казалось, заключили перемирие.

— Смотрите, какая белуга,— почему-то шепотом сказал Александр Кокоза, кандидат биологических наук из НИИ осетрового хозяйства.— Наверное, больше полутонны...

— Редкий по нынешним временам экземпляр, не всякий рыбак с такой царь-рыбой встречался,— подтвердил летчик-наблюдатель Каспийского НИИ рыбного хозяйства Евгений Зубрилкин.— Я над Волгой летаю не первый десяток лет, всякое повидал, но такого...

Продолжение см. на стр. 18—19.





Людвига ЗАКРЖЕВСКАЯ

В ОЖИДАНИИ ГЕРОЯ



У Владимира Гостюхина простое, четкой лепки, чуть сумрачное лицо (впрочем, улыбка у него замечательная, белозубая, только улыбается он на экране редко), крепко сбитая, ладная фигура «мужика», прочно стоящего на земле. В этом облике угадываются черты человека несуетного, надежного, обладающего недюжинной силой. Рабочего, солдата, пахаря — одним словом, труженика, на котором, как известно, держится мир.

Его фактический дебют состоялся в фильме «Восхождение». А путь к «Восхождению» был поистине неисповедимым. Гостюхин рассказывает, что в детстве он и не помышлял об актерстве (родители по роду занятий далеки от искусства). Учился в радиотехническом техникуме. Играл в эстрадном оркестре. Однажды пригласили выступить на новогоднем вечере в «Маленькой студентке» — не было нужного исполнителя. Репетировал, мучился, убегал с репетиций. Заболел сценой. Когда после премьеры студенческий кружок распался, пошел в коллектив Дома культуры, где пропадал все свободное время. Ушел с четвертого курса техникума, поступил в ГИТИС, получил свободное распределение, отслужил в Таманской дивизии, пошел в театр Советской Армии, вакансии не было, согласился на любую работу и шесть лет прослужил мебельщиком-реквизитором, получая по два рубля пятьдесят копеек за спектакль. За эти годы выучил «для себя» в мебельном подвале всю классику, снялся в небольших ролях в «Великих голодранцах» и в фильме «Был месяц май». Потом на спектакле «Неизвестный солдат» (замещал заболевшего актера) его приметила ассистентка с «Мосфильма». В «Хождении по мукам» увидела Лариса Шепитько... Случай? Но к случаю нужно быть готовым. Нужно очень верить в свое призвание.

Что угадала, что поняла в нем Шепитько, приглашая на роль Рыбака? Ни отрицательного обаяния пройдохи, ни каких-либо следов грешного прошлого или настоящего не было в облике этого обыкновенного, здорового и этим посвоему привлекательного человека. Видимо, именно такой актер и нужен был ей для воплощения замысла.

Была, правда, в нем сумрачность, угрюмость, может быть, даже озлобленность. Он сам признается, что в момент встречи с Шепитько был в «раздраенном» состоянии (затянувшееся невезение в театре и другие личные причины — приятели удивлялись: как ты не сопьешься?). Но главная причина «угрюмости» заключалась в ином. И тут личное совпало со всеобщим. «Стало откатываться время правды». Гостюхин это понимал и болезненно переживал. В жизни было одно, «по ящику» — другое. Идеалы стали лозунгами, произносимыми по бумажке. Играть в молчанку становилось невыносимо. Лариса почувствовала это накопившееся, застоявшееся, обострившееся. «Человеческий контакт у нас возник сразу же».

...Всякий раз, пересматривая «Восхождение», буквально с ужасом ждешь финала фильма, когда, пережив трагические перипетии сюжета, оплакав казненных, принявших муку прощания с жизнью, оказываешься свидетелем еще одной смерти — духовной погибели Николая Рыбака.

Уже не его, а каким-то вселенским взором всматриваешься в эту вдруг открывшуюся за воротами старого подворья зимнюю, до боли родную даль, и что-то беззвучно разрывается в душе. Где-то там, на косогоре, виднеется детская фигурка на лыжах. И кажется, пахнет снегом и дымком. И чуются собачий лай и чьи-то голоса... Жизнь, даже такая страшная, под игом чуждого, жестокого порядка, продолжается. И будет вечер, и будет утро. И будет завтрашний день. И вынесут, выстоят люди, доживут до конца войны.

Но пока — пустое подворье, плац немецкой комендатуры. И Рыбак, не сумевший удавиться в отхожем месте. И эти распахнутые настежь — иди! живи! радуйся! — ворота. И нельзя сделать ни шагу на подгибающихся ногах. Все кончено. Не вымолить, не выплакать, не выкричать. Но, рухнув на колени, он плачет и кричит, и кажется, сама земля содрогается от этого крика. От настигшего его понимания: непоправимо, необратимо, невыносимо сознание собственной вины...

Войну Гостюхин «не застал», родился в сорок шестом. А вот о жизни в послевоенном Свердловске вспоминает живо, рассказывает интересно. В городе осели тогда многие эвакуированные, оставались после госпиталей, прибывали амнистированные и отбывшие срок. Пестрый человеческий контингент правил нравами на рынке, где, как и повсюду в те годы, шла бойкая торговля чем попало и где «пацанва» наглядела́сь суровой правды бытия на всю оставшуюся жизнь. Помнит он, как ходили по домам нищие. Как-то мама открыла дверь, а там женщина, у которой под пальто буквально ничего не было... Помнит, как однажды утром во дворе раздался страшный крик, он высунулся в окошко, там били вора — клюшками, кочергами. На его глазах убили человека...

Все мы родом из детства. В работе над «Восхождением» сложился союз ровесников, чье детство так или иначе было затронуто войной. Не они ли приняли и преумножили тот заряд духовной энергии, что квантом угасающего сознания Сотникова был брошен мальчику в буденовке — поколению будущих «шестидесятников»?

О «Восхождении», имевшем огромный успех у нас в стране и за рубежом, много писали. Пресса тех лет справедливо отмечала, что фильм воспевает несгибаемость, самоотверженность, патриотизм Сотникова.

А Рыбак? Какие мысли и чувства вызывал тогда этот образ? Реальность 70-х годов: нравственное размежевание людей, сумевших или не сумевших оказать внутреннее сопротивление застою, отступничество некоторых бывших единоверцев по XX съезду, их погружение в «материализм» житейских, нередко шкурнических интересов — все это повелевало авторам фильма искренне и жестоко осудить человека, ставшего на гибельный путь компромисса.

В чем же была истинная причина массового даже не успеха — признания «Восхождения»? Несомненно, в предощущении будущего, в недрах того времени назревавшего переворота общественного сознания.

Теперь уже тайна: вольно или невольно Л. Шепитько и В. Гостюхин, осудив Рыбака, в то же время не смогли или не захотели отнять у него надежду на прощение. Да, под дулом автомата, между жизнью и смертью он уже не сознанием своим, а молекулами мозга выбрал жизнь. Но кто скажет о себе — буду героем? Кто бросит камень в сходивших с ума от голода, страха, отчаяния, признававших себя агентами британской разведки в следственных кабинетах, покушавшихся на чужие пайки в блокадных очередях? Даже сами ленинградцы за давностью лет склонны их простить...

«На площадке произошло чудо,— рассказывает Гостюхин о сцене покаяния Рыбака.— Когда все было готово, когда мое состояние было доведено до крайней черты, до предела, Лариса тихо, полушепотом начала читать текст сценария. И вдруг каждое слово, произнесенное ею, отозвалось во мне: я почувствовал все то, что чувствовал бы человек в подобной трагической ситуации. Рыбак молил свою Родину о пощаде...» «Деталь из области чудес,— вспоминала Шепитько.— Полфильма мы гримировали актеру синяк. Это было очень неудобно. А когда стали его разгримировывать, то обнаружили, что под гримом точно такой же синяк. Он был в эти секунды Рыбаком до последней капли крови, до полного психофизического истощения».

* * *

Актер, призванный выразить мироощущение современной личности,— что говорит он своими ролями?

Ностальгия по утраченной гармонии бытия, по мудрым законам народного общежития, по земной простоте и целомудрию человеческих чувств и отношений — мотив, чрезвычайно важный в творчестве Гостюхина. Словно невидимый ангел, будет он витать за плечами его героев, живущих уже в иную историческую эпоху.

Собственно говоря, во всех своих ролях 70-х и первой половины 80-х годов он играет тоску по всеобщему, идеальному, безмятежному. Утратив в жестоких испытаниях века не только чувство первородного совершенства мира, но и уверенность в его скорейшем и справедливейшем переустройстве, герой Гостюхина, человек массы, рядовой народа, единица истории, как это ни парадоксально, утратил ощущение своей кровной связи с массой, причастности народному духу, своего непосредственного, личного участия в истории, творящейся как бы без него. Он стал жить отчужденно: как все, но сам по себе. Словно осиротел. Не один за всех и все за одного, а замкнуто, как бы внутри собственного жизненного смысла и интереса. Как раскрывается в данной ситуации его самобытный характер? Как срабатывает его «естественное» сознание?

Ответом на эти вопросы могут послужить роли, сыгранные актером в таких фильмах, как «Случайные пассажиры», «Охота на лис», «Белый ворон», «Магистраль».

...Вся «беда» — в его изначально положительной человеческой натуре (Гостюхин вспоминает, как однажды, еще будучи подростком, он пережил потрясение: к нему пристал хулиган, стал шарить по карманам; «крепкий малый, но телок», Гостюхин мог вмазать ему как следует, но оцепенел: как это — ударить человека, собственная беспомощность потрясла, потом стал заниматься боксом). Его сильные, мужественные, но добрые герои ощутили свою растерянность перед агрессивной силой зла. Ведь они были одиноки — каждый сам по себе.

Период застойных явлений, ставший для многих остальных и прочих временем «наибольшего благоприятствования» для проявления их хапужнических или вовсе хищнических инстинктов, для чуждого изворотливости героя Гостюхина стал временем испытаний, тяжких и мучительных раздумий, осознания горьких истин.

И здесь возникает мотив родства гостюхинских и шукшинских героев (об этом не раз, но лишь вскользь упоминалось некоторыми). Да, в них бродит, недоумевает, бьется о стену упрямых фактов и не находит выхода эта жаждущая правды, справедливости, «праздника души» земная мужицкая сила, изнемогает от коварных вопросов ждущая верного ответа «тугодумная» народная мысль.

Мотив дороги, традиционный для русского искусства, чрезвычайно важен для понимания шукшинских и гостюхинских героев. В дороге, открывая для себя современный мир и обитающих рядом или в отдалении людей, находил свои «ответы» на жизнь и Иван Жаплов из «Случайных пассажиров». На абсолютно бескорыстного, «малахольного» Пашку Колокольникова («Живет такой парень») он, кажется, уже не похож... Но отчего же тогда, встретив на дороге ребятишек, мерзнущих вместе с воспитательницей Капой, он не может проехать мимо них?

Раскрывая истинную суть характера Ивана Жаплова, Гостюхин показывает, что под слоем наносного, заимствованного кроется в этом человеке широкая и безоглядная русская душа, с ее состраданием чужому горю и бескорыстным желанием помочь людям.

Гостюхинский герой — человек без тылов и флангов, без родной деревенской «вотчины». Оторванный от земли, проживающий в типовых, блочных «пятистенках», пребывающий в своем замкнутом мире, он давно уже не верит «сказкам». Но остается верен своей испытывающей «проверку на дорогах» времени врожденной натуре.

Да, он такой, какой есть. Сам по себе. Однако, пребывая в «вакууме» (в зоне, в нише...) личной независимости, он не мог не испытывать давления окружающей среды, не реагировать на факты текущего дня.

Он не выступал с призывами, не критиковал плохое начальство, не поддерживал хорошие начинания, вообще не занимался «шебутней». Настоящего дела для гостюхинского героя не было. И потому он просто жил, работал, наблюдал. Кстати, неплохо зарабатывал. Но дух наживы, рвачества, «житейский интерес» всегда были чужды прочным, основательным, надежным мужикам Гостюхина...

Художественное творчество, по определению В. И. Вернадского,— это космос, проходящий через сознание живого существа. Думается, именно актеры, творящие непосредственно своей духовной энергией (тела лишь материал, «пластилин»...), более всех других художников «заложники вечности» — у времени в плену. Но об этом разговор отдельный.

Сейчас же еще раз подчеркнем: Владимир Гостюхин нужен современному кинематографу. Он ждет своего героя.

Фото Сергея ИВАНОВА.

Продолжение. Начало см. на центральной вкладке

МЕРТВАЯ ВОДА

Всему миру известно, что именно здесь, в Волго-Каспийском бассейне, сосредоточены почти все мировые запасы осетровых рыб. Инстинкт продолжения жизни зовет их на нерест в реки, впадающие в Каспий,— Урал, Куру, Терек; большая часть осетровых нерестится в Волге. Здесь их родильный дом. Здесь их ясли и школа жизни. Стоя над омутом, я рассматривал плававших в нем осетров и думал, что на нас лежит ответственность перед всем человечеством за само их существование. Дело в том, что все обитатели омута — и белуги, и осетры, и севрюги — все, все плавали... вверх брюхом. Они были мертвы. Одна из севрюг слабо шевельнула плавниками, но тут же затихла. И сколько я ни смотрел, больше не двигалась.

Братскую рыбью могилу мы заметили с вертолета. Сели поблизости, чтобы увидеть все в подробностях. Стали считать... Только осетровых насчитали сто пятьдесят семь!..

— Такого я еще не видел,— все повторял летчик-наблюдатель.

Несколько дней назад рыбоохрана заметила ниже Волгограда темное пятно шириной более ста метров, а длиной в несколько километров. В пятне обнаружили остатки масел, дурно пахнувшие водоросли, какой-то мусор, грязную и мутную пену непонятного происхождения, а также СПАВ — синтетические стойкие поверхностно-активные вещества. Предположили, что произошел залповый выброс стоков с какого-то предприятия на берегу (а их там сотни). Точный и быстрый анализ, к сожалению, произвести не удалось, потому что вскоре над Волгой разразилась гроза, ветер перебаламутил воду. А через несколько дней стали замечать большое количество погибшей рыбы, в основном осетровых. Их нерест как раз был в разгаре. В то же самое время на рыборазводных заводах отметили массовую гибель личинок — до двух с половиной миллионов в сутки! Причина понятна: грязная вода, которая закачивалась из Волги. Тогда повсеместно от Астрахани до Волгограда объявили тревогу, вышло специальное поисковое судно с учеными на борту, вылетел для патрулирования вертолет, по радио объявили, чтобы астраханцы и гости города опасались покупать осетрину на черном рынке во избежание отравления.

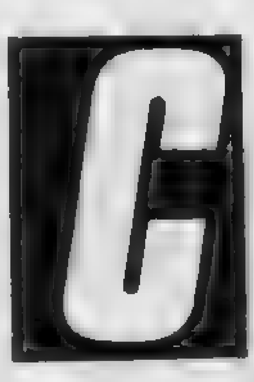
Шестой час подряд мы летали над правым берегом Волги, считали погибшую рыбу. Настроение было подавленное. Мертвая рыба плыла густо, через каждые сорок—пятьдесят метров по осетру или севрюге... У береговых скоплений вертолет садился, ученые брали пробы воды и тканей рыб. В одном месте увидели двенадцать больших осетров на прочном браконьерском кукане, прикрепленном, очевидно, к якорю (вытащить их мы не смогли). Что-то помешало браконьерам воспользоваться добычей — осетры погибли. Рыбы были полны икрой, но она, увы, уже пропала: у снулой красной рыбы стремительно развивается ботулизм, рыба становится источником отравления. Обычно рыбоохрана вылавливает такую опасную рыбу и закапывает на берегу... В другом месте приземлились у домика под звучной вывеской «Мужичья тоня». Здесь базировались рыбаки.

— Как уловы? — полюбопытствовал я.

— Слезы,— услышал в ответ.— С каждым годом хуже. Наверное, красную рыбу скоро можно будет увидеть только в Красной книге, на картинках...

Мы летели все дальше, продолжая вести черную бухгалтерию: счет погибшим осетровым только вдоль одного берега близился к тысяче! Но то была лишь верхушка айсберга.

— Кто может сказать,— спрашивали сами себя ученые,— сколько погибшей рыбы просто затонуло и осталось невидимой?



верху старая река не казалась такой широкой. По ней сновали буксиры с плотами и баржами, танкеры, сухогрузы, пассажирские лайнеры, «Ракеты», катера. Трудилась Волга-матушка. Я видел, как, бросив сеть в протоке и бешено взревев двумя «Вихрями», уносилась прочь лодка браконьеров. Где предел человеческой алчности? Я видел, как в степь от реки уходили водоводы и каналы, видел залитые водой рисовые чеки, зеленеющие огороды и сенокосы. Жизнь им давала Волга. Я видел дымящие по берегам разнокалиберные трубы разнокалиберных заводов. И другие трубы, извергающие в реку стоки этих заводов-браконьеров... Их тоже нельзя остановить? Я видел Волжскую ГЭС, турбины которой вращались безостановочно, денно и нощно вырабатывая энергию. Турбины тоже остановить нельзя, поскольку замрут те самые заводы. А если замрут заводы, то народное хозяйство... В общем, ясно. Плохо одно: человек забывает, что сам он тоже часть природы и все чаще с ее законами считаться не желает. Результат плачевный: страдает и человек, и природа... Мы подлетали к плотине у Волгограда. Я не видел живых осетров и севрюг, но знал, что там, на глубине перед плотиной, собралось все их огромное стадо. Извечный инстинкт продолжения рода звал их в верховья старой реки, на промытые текучей водой галечники-нерестилища, где появились на свет и они сами, и их предки. Осетры тыкались в бетон плотины, словно надеялись на чудо: вдруг эта глухая стена расступится и пропустит их. Они не знали, что уже много лет те нерестилища заилились под толстым слоем стоячей воды, пропали. Они не понимали, что чуда не произойдет. Стена непобедима. А сроки поджимали, невмоготу становилось осетровым, и начинали они выметывать икру на скудные остатки сохранившихся нерестилищ ниже плотины. В очередь стояли. Я прекрасно понимаю, что развитие промышленности остановить невозможно, что и в дальнейшем люди будут строить заводы и фабрики, чтобы обеспечить растущее население страны товарами широкого потребления, а народное хозяйство — оборудованием, станками и машинами; да и добыча нефти, газа, других полезных ископаемых вряд ли будет снижаться. Но я понимаю и другое — человек никогда не сможет отменить законы природы. Невозможно уговорить осетровых жить в грязной, отравленной воде, невозможно заставить их нереститься на искусственно созданных нерестилищах. А что можно? Можно и нужно было, учитывая природные законы, не спешить с созданием крупных хозяйственных объектов без достаточного экологического обоснования, без открытого обсуждения проектов общественностью, широким кругом компетентных, вневедомственных специалистов.

В 50-е годы по инициативе и под личным контролем энергичного Н. С. Хрущева в Астрахани началось строительство целлюлозно-картонного комбината. Не важно, что при этом ближайший лесок находился от Астрахани примерно в тысяче километров. Зато вокруг, в дельте Волги стояли сплошные заросли камыша (кто-то сказал тогдашнему лидеру партии, что за рубежом из такого камыша делают дешевый картон). Не важно, что дельта объявлена заповедником (кстати, первым при Советской власти). Главное, будет стране картон (или — газ, нефть, хлопок!). О пуске Астраханского ЦКК объявили в 1962 году. Как водится, ударили в литавры, кого нужно наградили, а досрочно рапортовавшим — премии. Но тут произошел конфуз. То ли отечественный камыш сильно уступал зарубежному, то ли наши умельцы внесли коренные улучшения в технологию — дело не пошло! Не получался картон из камыша. Тогда без лишнего шума, без литавров решили добавлять в камыш древесную щепу, для изготовления которой первоклассный лес доставляли из... Мурманска. Так и доставляют до сих пор. Причем доля камыша в технологическом процессе постепенно уменьшалась и составляет сейчас примерно пятнадцать процентов, а через год от него совсем откажутся. Пусть шумит камыш в дельте, на радость лебедям, цаплям и рыбам! Это правильно...

Но какова же была экономическая целесообразность строительства ЦКК? Да никакая, зато какой образец головотяпства! Об экологии не говорю, о ней в тот период не догадывались — слова такого не знали. И дымили заводские трубы, отравляя атмосферу, и переполнялись сточными водами впадины высохших соленых озер (все равно без толку пропадают) в непосредственной близости от Волги. Но оказалось: не все равно. На бальнеогрязевом курорте «Тинаки», расположенном на свою беду по соседству с ЦКК, вдруг стали замечать, что ухудшились лечебные свойства грязей, что целебное озеро Тинаки затапливает невесть откуда взявшаяся вода, что стали сохнуть деревья в парке от выступавшей на почве соли. Озеро в конце концов погибло. И если бы в восьмидесяти километрах медики не нашли сходные по свойствам лечебные грязи в другом озере (оттуда теперь их возят машинами), то курорт пришлось бы закрыть. Причина проста. Сточные воды комбината, накопленные в огромном объеме и занявшие двадцать семь квадратных километров, вызвали повышение грунтовых вод, выносивших на поверхность соли. Когда возникла угроза их прорыва в Волгу, когда возмущенное население потребовало закрыть комбинат, тогда снизили потребление воды и соответственно сбросов.

— Люблю природу! — задушевно внушал мне заместитель генерального директора ЦКК Валерий Кузьмич Анопко.— Но стране бумага нужна. И картон, и прочее. Требуют закрыть наше производство. Но есть другой путь — сделать его экологически чистым...

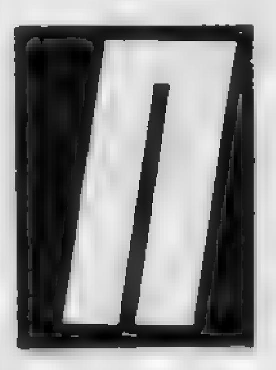
Разумно. Что же делает для этого Валерий Кузьмич и вообще комбинат? А вот что. Готовясь к прекращению использования камыша, тут полным ходом строят новый цех: теперь как сырье будет использоваться макулатура. Значит, возрастет потребление воды? А вот станции биологической очистки как не было, так и нет. Значит, по-прежнему стоки нельзя будет использовать для повторного оборота? Или — хотя бы для полива трав?..

— Смотрите,— убеждал меня природолюбивый Валерий Кузьмич, стоя на берегу озера с буро-коричневой жижей,— это один из наших накопителей. Не обращайте внимания на цвет, вода тут вполне безвредная. Видите, лягушонок сидит!..

— Да, боится в накопитель угодить,— сказал я.

— Шутите? — пытался обидеться Анопко.

Ах, Валерий Кузьмич, восхищенный вы наш! Вы не знали, что перед этим я побывал в «Каспводнадзоре», где меня проинформировали, что очистные сооружения горе-комбината отнесены к разряду неэффективных. А накануне на вас лично наложен штраф! Какие тут шутки? Дельта великой Волги рядом, единственная во всем мире, ее в случае катастрофы заново не создашь... Нет, не могу оставаться спокойным после того, что видел на Волге. Мне могут сказать, что ЦКК — дитя волюнтаризма. К сожалению, есть примеры и свежие.



оговорим об Астраханском ГПЗ — газоперерабатывающем заводе. Он пущен (обратите особенно внимание на дату) 31 декабря 1986 года. Только вот, пущен ли? До сей поры не действует система канализации. Не хватает столовых. Административно-бытовые корпуса готовы лишь наполовину. Отсутствует управляющая технологическим процессом ЭВМ. Управление процессом идет, по сути дела... вручную. То и дело возникают аварийные ситуации: в прошлом году основные технологические установки останавливались более двухсот раз. Из-за низкого качества монтажных работ, разного рода недоделок и дефектов оборудования. И почти тридцать раз завод останавливался полностью. Все это в конце концов привело к человеческим жертвам — четверо погибли, шестеро сильно отравились. Однако первое, что я услышал, было бодренькое:

— Стране нужна сера! И наш завод уже дает около пяти тысяч тонн серы в сутки — больше всех!..

Ах, родимая ты наша показуха! И как же ты живуча! Да, серу завод дает, но какой ценой? Ценой жизни.

— Не понимаю, к чему такая спешка? — рассуждал секретарь парткома ГПЗ Борис Григорьевич Филиппов.— Не пустили на полную мощность первую очередь комплекса, не отработали как следует технологию, а уже форсируем строительство второй очереди! Сил у строителей не хватает. Сложное, экологически опасное производство создаем силами спецконтингента.

— То есть силами осужденных? — уточнил я.

— Именно так в значительной мере. Откуда же взять качество работ? Больше думаем о газе и сере, чем о человеке. Нелепая традиция. Между тем каждый второй, работающий на заводе, не имеет квартиры. Отдохнуть после работы негде. Детсадов, магазинов, лечебных учреждений не хватает. Спортивных сооружений вовсе нет. Повсюду лозунги: стране нужны сера, газ, конденсат! Типичный узковедомственный подход...

Здесь уместно вспомнить, что Астраханское газоконденсатное месторождение открыто в 1976 году. Относится оно к разряду крупнейших в мире. Тут аномально-высокое пластовое давление в сочетании с повышенной, более ста градусов, температурой сырья, которое на четверть состоит из сероводорода (есть также углекислота, гелий, азот, ароматические углеводороды). Словом, огромное богатство.

Первая очередь должна перерабатывать до трех миллиардов кубометров газа в год, к 2000 году переработку планируется удесятерить. Так вот, сами эти цифры говорят об огромной потенциальной опасности, грозящей природе и людям.

Дело в том, что сероводород — нервно-паралити-

ческий газ. Один вдох его смертелен. К тому же вредные выбросы в атмосферу при его переработке грозят выпадением кислотных дождей. К чему они могут привести, видно на печальном примере Скандинавии, где в тысячах озер полностью погибла рыба. Очевидно, кто-то в Москве думает, что такое возможно только «у них», а у нас — никогда? Как иначе объяснить, что Астраханский ГПЗ построен чуть ли не на берегу знаменитой Ахтубы, одного из рукавов в дельте Волги? Кто не слышал о плодородной Ахтубинской пойме? И построен, словно по злому умыслу, буквально напротив последних на Волге нерестилищ. По соседству с заповедными местами.

Сейчас говорят, что завод можно было бы подальше в степь отнести... Но для этого требовалось удлинить продуктопроводы, газопроводы, водовод и проложить железнодорожную ветку. Решили, однако, не морочить себе голову альтернативами, ведущими к лишним затратам, а заодно уж и второго зайца ухлопать — ускорить строительство. Оказалось, сэкономили «на спичках». Торопливость привела к аварийным ситуациям. Завод и промыслы лихорадит. Только прошлый год принес более тридцати миллионов рублей убытка. Кстати, и сейчас сера производится в убыток: на каждой тонне теряется червонец — значит, полста тысяч рублей в сутки. Замечательный завод! А кто возьмется сейчас подсчитать, какие потери от соседства с ним понесла природа? И снова вспомнились мне плывущие по старой доброй реке мертвые осетры. А ведь они способны жить до семидесяти лет. Не могу забыть... Но, может быть, все это одни эмоции? Ну что же, послушаем делового человека — заместителя генерального директора комплекса по охране окружающей среды Владимира Ивановича Гераскина.

— Дважды я был в Канаде,— говорил Владимир Иванович.— Там заводы, подобные нашему ГПЗ, работают десятки лет, и все нормально. Причем скважины, из которых добывается газ, пробурены, бывает, прямо на фермерских участках, где пасутся коровы. А в какой-нибудь сотне метров — фермерский дом. Вот буклет, посмотрите...

Я листал его книжечку, где действительно обнаружил и коров в соседстве с газовой магистралью, и открытый склад серы под безмятежным васильковым небом, и словно игрушечный домик фермера на фоне завода. Владимир Иванович вдруг сказал:

— В Калгари видел по телевидению сюжет. Там на заводе случился выброс газа, от которого пострадали двенадцать человек, а на следующее утро уже показали и завод, и виновников, и пострадавших. И сразу началось открытое судебное разбирательство, уже сообщили, что наложен штраф в двадцать тысяч долларов...

К чему бы это он? Мысль интересная...

— Уровень автоматики и безопасности у нас гораздо выше,— как ни в чем не бывало перенесся в астраханскую степь Владимир Иванович.— У нас тут впервые на практике установлены три санитарные зоны. Во-первых, трехкилометровая, где нельзя появляться без противогаза и запрещено проживание. Во-вторых, пятикилометровая зона строгого режима, где запрещено проживание семей с детьми. В-третьих, восьмикилометровая особо контролируемая зона, где запрещено новое жилищное строительство... Зона влияния нашего комплекса как раз и ограничивается санитарными зонами. Но случаются разовые выбросы большой мощности — при внезапных остановках, ремонтных работах. Тогда приходится сбрасывать поток газа на факелы, и тут уж зона может расшириться до пятнадцати километров...

Вот тебе на! Ведь до Волги как раз столько же, а до Бузана, одного из крупнейших рукавов дельты, и того меньше! Из него, кстати, ГПЗ на свои технологические нужды ежесуточно безвозвратно перекачивает тридцать пять тысяч кубометров воды, которая сбрасывается затем в огромные накопители в нескольких километрах от завода. Может быть, не случайно медики требуют увеличить санитарную зону до полутора десятков километров? Но тогда придется переселять многие тысячи людей! Ломать жизнь, строить для людей новое жилье, трудоустраивать их. Вот она, экономия «на спичках»...

Мы шли по заводу. Жара стояла за сорок, и резко пахло газом. Невозмутимый Гераскин объяснял на ходу, что запах оттого, что ведется плановый ремонт установок (на новом-то заводе!). Сейчас, мол, здесь ПДК (предельно допустимая концентрация) газа примерно в тысячу триста раз превышает установленную для населенных пунктов норму, но это не страшно... Да мы-то пробудем тут недолго! Он говорил, что везде стоят автоматические датчики, регистрирующие каждые пятнадцать минут состояние воздуха, и в случае чего неисправные линии автоматически отключатся. Я же, судорожно вцепившись в противогаз, прикидывал, успею ли в случае чего воспользоваться им? Или тот единственный вдох отправит меня в рай? Но, как видите, обошлось. И, может быть, еще сто лет обойдется? Однако на сто лет Гераскин гарантию, похоже, не давал.

— Что тут скрывать, предприятие экологически опасное,— признался Владимир Иванович.— Поэтому имеет смысл режим его работы согласовывать с метеоусловиями. Сегодня дует ветер, завтра стих. Сегодня дождь, завтра безоблачно. Или там туман, а то и снег... Известно, например, что около семидесяти дней в году ветер дует как раз в сторону населенных пунктов. По-хорошему бы в этот период нам надо сократить выбросы. Каким образом? Не производить отдувку скважин, не сбрасывать газ на факеле. А при штилевой погоде, при тумане или снеге можно пойти на некоторое сокращение добычи газа... К сожалению, это невозможно при существующем сейчас планировании. Министерство планирует добычу и переработку газа буквально по суткам! Более того, идет строительство второй очереди! Кстати, по неутвержденному проекту. Так вот, министерство уже спустило для нее план по переработке газа! Хотя эксплуатация первой очереди выявила массу недостатков купленной во Франции технологии. Главный из них — недостаточная доочистка газа, а это ведет к увеличению выбросов в атмосферу... По-хорошему бы надо воспользоваться услугами других фирм, да вот поторопились. И закупили для второй очереди в той же Франции точную копию первой...

— Какое же количество выбросов обещает комплекс?

— Сто тысяч тонн в год.

Как они повлияют на окружающую среду? Этого никто с достоверностью сказать не может.

Сомнительно утверждение газовиков, что выбросы из труб высотой в двести десять метров не пересекут границ санитарной зоны. Вот справка начальника «Каспводнадзора» В. Степанова: «Уже сейчас прослеживается негативное влияние выбросов на ближние водоемы, особенно малопроточные и непроточные. Очистки сернистого ангидрида и диокиси серы нет... Ахтуба уже потеряла свое нерестовое значение».

Что будет дальше, можно только гадать. Экологи предлагали сделать первую очередь ГПЗ опытно-экспериментальной. И на ней досконально изучить в течение ряда лет, как отнесется к непрошеному соседу природа. К ним не прислушались...

А в соседней Гурьевской области создается еще более мощный нефтегазовый комплекс на Тенгизе. И там те же проблемы: более высокое содержание серы в нефти, колоссальное количество в ней газа — оно в десять раз превышает привычную «норму»! Аномальные давление и температура диктуют особую осторожность при разработке и эксплуатации месторождения. Аналогов такой нефти в мире нет. «Огонек» в прошлом году уже писал, к чему привел неуправляемый выброс на печально знаменитой 37-й скважине: больше года не могли потушить нефтегазовый фонтан! Ежедневно улетал в никуда миллион рублей. Теперь здесь тихо. Но у скважины на всякий случай стоит дежурный.

Я походил по стеклянному озеру, возникшему из расплавленного песка. Ветер не мог прогнать зной. Степь казалась большой раскаленной духовкой. По горизонту часовыми торчали буровые вышки, и в каждой таилась опасность. При въезде на территорию нефтегазоперерабатывающего завода большой щит: «Внимание! Зона повышенного контроля, въезд по пропускам и с противогазом». Здесь меня проинструктировали, как вести себя в случае газовой тревоги, примерили и вручили противогаз, дали расписаться в книге регистрации.

В прошлом году такого не было. Как, впрочем, и многого другого. Так, на месте едва выглядывавших из песка головок фундаментов теперь высились смонтированные на них технологические установки. Там и сям мелькали разноцветные комбинезоны венгерских строителей. У каждого подразделения свой цвет: у монтажников, допустим, бордовый, у бетонщиков — синий, у электронщиков — белый. Это дисциплинирует. Сразу видно, кто как работает. Бросалось в глаза отменное качество работ.

— Мы, нефтяники, конечно, не аптекари,— говорил главный инженер объединения «Тенгизнефтегаз» Андрей Константинович Максимов.— Всякое может случиться. Никто не предполагал весной прошлого года, что ветер с Каспия погонит огромные массы воды на промыслы и размоет дорогу. Пока отсыпали защитную дамбу, часть нефтепродуктов смыло в море, а там и рыба нагуливается, и тюлень обитает, и фламинго. Встал вопрос о срочном возведении капитальной дамбы, она обойдется примерно в миллиард рублей. Но другого выхода нет...

— Как с вредными выбросами?

— В создании комплекса участвуют ведущие фирмы Канады, ФРГ, Японии, Италии, США. Оборудование современное. Так, доочистка хвостовых газов будет осуществляться практически полностью, гораздо лучше, чем на Астраханском ГПЗ. Но останется одна десятая процента, и вот она-то даст многие тонны выбросов. К счастью, вокруг безжизненные пространства. Река Урал далеко. Еще дальше Волга. Столица Тенгиза — Кульсары тоже на безопасном расстоянии. Беспокоит Каспий, находящийся в пределах досягаемости выбросов.

Очередной микрорайон в Кульсарах, например, решили не принимать без полного благоустройства, без объектов соцкультбыта. Хотя здесь выражали обоснованные претензии к домостроительным комбинатам Алма-Аты, Гурьева, Актюбинска, срывавшим сроки поставок железобетона... В вахтовом поселке Тенгиз, обретающем свое архитектурное лицо, с удивлением узнал о строительстве бассейна, о будущих фонтанах.

— Откуда вода?

— Из Волги, по водоводу...

Так, вопреки утверждению, Волга и Тенгиз оказались рядом. Честно говоря, я не знал: радоваться этому или огорчаться? Уверен, что людям, работающим в тяжелейших условиях пустыни, бассейн и фонтан не подарок, а необходимость. Но куда деть боль и тревогу Владимира Прокофьевича Иванова, кандидата биологических наук, директора Каспийского НИИ рыбного хозяйства? Многие годы он и другие ученые, специалисты по рыбе, боролись не против самого водовода Волга — Западный Казахстан, а против водозабора из реки Кигач, по сути дела, из дельты! По ней идет массовый скат рыбьей молоди с естественных нерестилищ. Они предлагали иное — забор воды из Волгоградского водохранилища. Да, обошлось бы дороже, но сохранило бы жизнь миллиардам мальков!..

Увы, сэкономили на рыбьих жизнях: мощные насосы теперь выкачивают их вместе с водой... А грядет еще вторая нитка водовода... Тихой сапой продолжается строительство канала Волга — Чограй (часть пресловутого проекта века по переброске северных рек). С водозабором ниже Волгограда, в районе села Соленое Займище, то есть фактически из родильного дома осетровых!

И тут предложение ученых перенести водозабор отвергнуто по причинам сиюминутной ведомственной экономии. Куда же деваться бедным осетрам? В Красную книгу?

Не стоит тешить себя мыслью, что мы далеки от этой опасной черты. Давно из-за снижения поголовья прекращен морской промысел осетровых на Каспии. С каждым годом теряет свое рыбохозяйственное значение Урал. Его воды разбирают на орошение. Три с половиной тысячи километров магистральных и межхозяйственных каналов уносят воду из Урала. Урало-Кушумская оросительная система забирает целый кубокилометр — пятую часть всего нынешнего стока Урала. И совсем не смешно, что часть хозяйств, находящихся в зоне орошения этой системы, завозит солому на корм скоту из других областей! Вода используется варварски. Каналы не прочищаются. Через их земляное ложе бесполезно фильтруются, уходят в пески миллионы кубометров. В пустыне возникают болота. А злостное браконьерство, вынуждающее мобилизовывать во время нереста на Урале милицию из других городов? Начальник «Гурьеврыбпрома» Б. Сулейменов назвал, кроме всех перечисленных, еще одну причину — перелов осетровых в течение ряда лет. То есть вылов рыбы сверх квоты, сверх меры.

— Как бывало? — горячо говорил Сулейменов.— При плане семь тысяч тонн брали одиннадцать! Теперь не дотягиваем и до трех тысяч тонн. Подорвали запасы. Обрабатывающие предприятия работают в неполную силу, в прошлом году даже сократили четыреста пятьдесят человек...

Какая, однако, штука память. Уважаемый Бостан Шамишевич, видимо, забыл, что в годы перелова именно он руководил отделом обкома партии, курирующим рыбную промышленность! Именно он, Сулейменов, в духе времени требовал от рыбаков: «Давай, давай!».

Кстати, о переловах я слышал и на Волге. Владимир Глебов, начальник приемотранспортного цеха Оранжерейного рыбокомбината, что расположен в дельте, подготовил по этому поводу целый трактат. Он логичен и четко аргументирован. Я приведу из него цитату: "Только Оранжерейный рыбокомбинат за два года пятилетки принял от рыбаков больше плана пятьдесят тысяч центнеров рыбы (и это при «сдерживании» лова). Но Волга — не бездонная бочка, из которой надо только брать. Да, человек все может. Может за два-три года выловить всю рыбу в дельте. Но нужно ли это делать? Что мы оставим потомкам?»

...И стоят у меня в памяти — забыть не могу — плывущие вверх брюхом мертвые рыбины...

Специалисты подсчитали, что ущерб от массовой гибели осетровых составил тридцать пять миллионов рублей. Виновника не нашли... И, думаю, не найдут. Хотя возбуждено уголовное дело! И установлено, что едва ли не все предприятия Волгограда имеют неэффективные очистные сооружения.

Можно ли кучу денег — все тридцать пять миллионов рублей — превратить хотя бы в одного живого осетра? Спрашиваю всех! Можно ли вообще в презренных рублях оценивать живую природу?



Витас ЛУЦКУС

Человек ловил мгновения. Не мгновения неверной удачи. Не те, что свистели, как пули. Даже и не те, особо прекрасные, ради которых средневековый доктор не пощадил собственной души.

Конечное, равно как и преходящее, его не интересовало. Что толку в расчленении потока на атомы? Что объясняет подстреленный миг стоп-кадра? Что открывает случайная игра светотени?

Да ровным счетом ничего.

Своим сачком он накрывал только ту бабочку бытия, которая, словами поэта, выпадала из времени, висела отдельно от собственного витка.

Может быть, потому человек и говорил приятелю, что снимать возможно даже консервной банкой, а печатать на обертке или обоях. В конце концов это дилетант думает, что дело в оптике и пленке. Так, мальчик требует у старшей сестры ее удачливый сачок, еще не подозревая, что длина струганой палочки — не главное.

Человек знал: главное — в нем самом. В его человеческой способности угадать это сгущение мига до вечности. Не увидеть — этого слишком мало!— не прицелиться, а самому отразиться в модели, стать ею.

Такое странное искусство — фотография.





ЛИЦА





ЛИЦА

Оно сродни молитве первобытного охотника.

И кто кого здесь ловит?

Он говорил: «Художника, изобразившего на скале двадцать тысяч лет назад кита с китенком в животе, можно смело назвать первым в мире фотографом». И добавлял, что того занимала не физиология, не форма, а реальное событие.

20 тысяч лет? Неужели только тогда его предок впервые пожалел другую, не похожую на себя жизнь? И населил ее собственной душой, болью, радостью? Или мастер умышленно сбивал нас со следа и десятикратно увеличивал дистанцию?

Я не знаю, висела ли в его мастерской репродукция первой на земле фотографии, полученной в палестинской пустыне две тысячи лет назад. Пусть спорят эксперты, как фаворские лучи превратили грубый льняной холст в нетленный негатив. Что проку гадать о технологии нерукотворного плата или рублевского прозрения? Мастер знал, что вечность движется сквозь время толчками. Знал, что только ремесленник будет «строить кадр» да подманивать жизнь в хитроумную ловушку графической логики.

Он верил в самовоскресение живого. Верил в чудо.

А для художника это полдела.

Чудо любого настоящего искусства: ре-

СЮЖЕТЫ ДЛЯ НЕБОЛЬШОГО РАССКАЗА

зультат никогда не равняется намерению. Он всегда иной, не тот, которого ты добивался. Потому что материал упруг, у него свой нрав и характер. Лепится «по образу и подобию», но безгрешный в замысле Адам состоит из тяжелой красной земли — «адамы».

Металл податливее глины.
Самый простой пример — с железом.
Железо может быть сосудом,
Гвоздем и бронетранспортером,
Оно, как жидкость, примет форму,
В которую войдет.
А глина
Все ускользает из-под пальцев
И убивает куда реже,
И только мастера.

Человек хотел обить камень — искра зажгла подстилку из сухой травы.

Человек хотел просверлить кость — научился добывать огонь трением.

Потом он стремился накормить огонь тем, что ел сам, и неожиданно открыл секрет приготовления пищи.

И много позже нарисовал китиху с китенышем в чреве.

Ну, а этот лепил из света и серебра. И вылепил себя.

Звали его Витас Луцкус. Жил он в Вильнюсе. И был сначала просто фоторепортером. Газетным и журнальным, как многие.

Андрей ЧЕРНОВ



●

— Жизнь прожита, прожита, прожита. И не зовите меня своим блеяньем: сами вслед побежите! Дайте старухе побыть одной. С тем, кто окликает ее.

●

— Гвоздь — дело третье. Подкова — второе. Веревка — первое.

...почему счастья нет?

●

— Тебе праздник — мне служба, мне праздник — опять мне служба. Слушай, почему так?.. Что, милиция не человек?

●

— Сама же и научила: я от дедушки ушел, я от бабушки ушел... Вчера из штанов вырос, сегодня двор ему жмет. Вчера колобок, а завтра, глядь-ка,— перекати-поле, чуманга безродная... Или доля наша родительская такая...

●

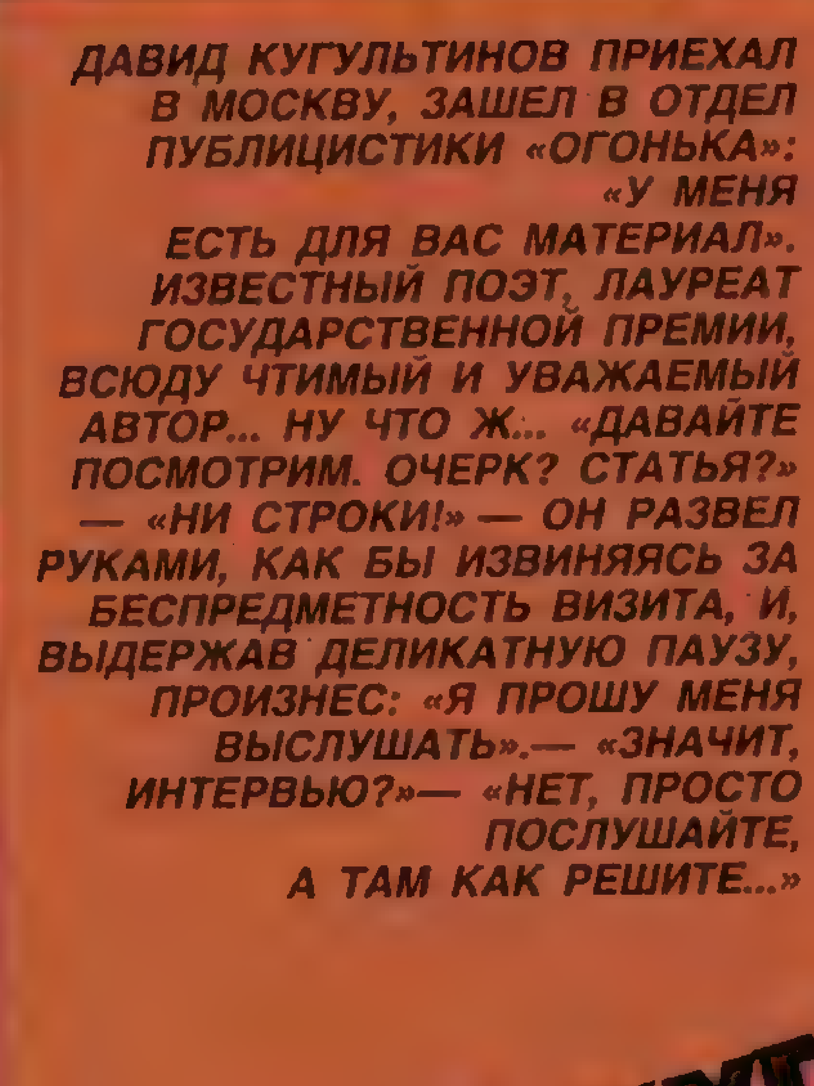
— Это быки на выпасе хозяев не признают. Человеку смешно. Быку обидно. А собаке страшно.











Давид Кугультинов приехал в Москву, зашел в отдел публицистики «Огонька»: «У меня есть для вас материал». Известный поэт, лауреат Государственной премии, всюду чтимый и уважаемый автор... Ну что ж... «Давайте посмотрим. Очерк? Статья?» — «Ни строки!» — он развел руками, как бы извиняясь за беспредметность визита, и, выдержав деликатную паузу, произнес: «Я прошу меня выслушать».— «Значит, интервью?»— «Нет, просто послушайте, а там как решите...»

За годы работы я навидался авторов, безвестных и именитых, берущих за горло мертвой хваткой, такой, что легче опубликовать, чем объяснить, почему опубликовать не можешь. Но тут была именно просьба. Я включил диктофон. На другой день, уже в гостинице «Москва», продолжил запись. И понял, почему не очерк, не статья...

Кугультинову нужны были глаза и уши участливого собеседника. Ему просто хотелось выговориться... Получился монолог. Я записал его на пленку, а затем, не поправив почти ни слова, переложил на бумагу. Почитайте. Нет, послушайте...

Валерий ВЫЖУТОВИЧ

ДАВИД КУГУЛЬТИНОВ: «ОТ ПРАВДЫ Я НЕ ОТРЕКАЛСЯ»

ИЗ ИСТОРИИ СОВРЕМЕННОСТИ

В то время, когда... У меня об этом поэма, называется «От правды я не отрекался». Так вот...

В то время гнев
несправедливый, дикий
Нас подавил... И свет
для нас потух.
И даже слово самое — «калмыки»
Произносить боялись люди вслух.

Ну, слушайте... Я служил в частях двести пятьдесят второй Краснознаменной ордена Богдана Хмельницкого харьковско-братиславской стрелковой дивизии. В звании младшего лейтенанта, сотрудником газеты «Боевая красноармейская». И вот собрали группу такую — это очень важно насчет группы,— и послали в Москву нас в командировку. В Москве в Политуправлении Красной Армии нам зачитали приказ... Сослать калмыков! В обвинение поставили, будто бы сто десятая Калмыцкая кавалерийская дивизия, которая была сформирована после того, как все из калмыков, кто мог держать оружие, был в Красной Армии, сдалась в плен. И вот, когда немцы форсировали Дон, всю эту кавалерийскую дивизию бросили на танки немецкие. И пошла легенда, будто бы Калмыцкая дивизия вся сдалась, разбежалась. И эта легенда существовала долго. Много лет спустя мне Анатолий Калинин говорит: «Ты знаешь, вся Калмыцкая дивизия погибла у Пухляковки». Он сам оттуда родом и сейчас там живет. «Ты знаешь,— говорит,— что мне старики рассказали, которые тогда видели все собственными глазами...» Потом Закруткин Виталий мне говорит: «Ты знаешь, мне рассказывали, как погибла ваша дивизия. Она погибла героически».

А тогда: сослать! Сослать всех, всех калмыков! Если бы я солгал, я бы покаялся. Если бы я украл, то молил бы людей о прощении. Но если я — калмык, то эту «вину» ничем не искупить. Этого — не поправить!

И вот эшелон за эшелоном — в Сибирь! На больших остановках проводили партийные собрания. Какой-нибудь «гражданин начальник» командовал: «Беспартийному конвою отдалиться!» И проводили партийные собрания. Вот что ужасно. Уже было совершенно ясно, что фашист разгромлен, уже создавалась Организация Объединенных Наций. Ни Черчилль, ни Рузвельт, ни Сталин не сомневались в победе. Уже обдумывали, как наказывать военных преступников. Так зачем же надо было убивать младенцев, стариков, абсолютно ни в чем не повинных?.. Зачем надо было наказывать героев войны? Зачем?!

Так я оказался в Новосибирске. С нами, офицерами-политработниками, поступили благородно, сказали: выбирайте район поселения калмыков и езжайте туда. Я выбрал Алтайский край. И мои товарищи выбрали Алтайский край. Сказали нам, что Алтайский край — самый лучший край в Сибири. Мы понимали, что недолго придется жить там. Это было в сорок четвертом, летом.

Почему я говорю, что по отношению к нам были благородны? Потому что по отношению к солдатам было такое сделано, что и сейчас я не могу спокойно говорить об этом. Всех солдат-калмыков со всех фронтов собрали и отправили в концлагерь. В Молотовскую область, на станцию Половинка, где они строили Кунгурскую ГЭС. Эта ГЭС сейчас работает. Половина красноармейцев, фронтовиков погибла там от голода, холода, унижения, глумления над ними за то, что они родились калмыками. Вот так же переселяли чеченцев, балкарцев, карачаевцев, крымских татар, немцев Поволжья. Сначала ставили во всех населенных пунктах воинские подразделения, говорили, что, мол, на отдых. А люди-то понимали: происходит что-то страшное. Солдаты стали им украдкой шептать: сошлют вас, готовьтесь. Люди и верили и не верили. Мне моя тетка после рассказывала: рано утром, 28 декабря, им приказали собраться в дорогу. С собой разрешили взять ценные вещи, узелки до десяти килограммов. Это было похоже... Так фашисты сгоняли евреев. Дуло в спину: «Пошел!»

Тетка рассказывает: погрузили их на машины, повезли в Сальск. Там загнали в товарные вагоны и заперли. И пятнадцать дней везли в Сибирь. Вы представляете, конец декабря, сибирский мороз, а у нас ведь край теплый, предкавказье... Множество умерло в вагонах. Ну ладно, приехали. У станции тупик. Маленькая такая станция, название странное — Сон. Оттуда, из этого Сна, приехали представители леспромхоза с комендантом. Увезли в тайгу. Степных людей увезли, которые никогда не видели леса. Велели им лес пилить, а они не умеют. И столько их там погибло — не знали ведь, куда будет падать подпиленное дерево. Холодные, голодные, разутые. Издевались над ними. А еще калмыков ставили комендантами там, где не находилось русских. Русские были гораздо мягче. Русский комендант зарплату отрабатывал, вроде бы исполнял свой долг. А коменданту-калмыку надо было заслужить доверие, надо было удержаться. Я думаю, по меньшей мере треть калмыков погибла тогда. И когда я сам оказался там, хотите верьте, хотите нет, получил работу в Бийском автомобильном техникуме. В этом техникуме в то время как раз учился Вася Шукшин. После его смерти мне его супруга рассказала: «Он учился, когда вы там преподавали».

Однажды ночью возвращался к себе. Вдруг почувствовал, что за мной кто-то шагает. Я забежал в дом к другу, горела печь, выхватил пачку стихов, бросил в огонь. И в ту же минуту без стука вошел человек, сказал: «Извините, я, кажется, ошибся». Очень жалею, что сжег стихи, хотя они были бы дополнительным доказательством моей вины, как в приговоре сказано. Вот выписка из приговора — орфография и стилистические перлы мною сохранены. Послушайте.

«Материалами предварительного и судебного следствия установлено, что обвиняемый Кугультинов в 1944 году был отчислен из Красной Армии на основании Постановления Советского правительства. После отзыва из армии Кугультинов поселился на место жительства в г. Бийск на правах спецпоселенца. Находясь в г. Бийск Кугультинов, являясь враждебно настроенным к существующему строю в СССР, на протяжении 1944—45 гг. среди спецпоселенцев калмыков проводил антисоветскую агитацию в форме высказывания контрреволюционных измышлений и в стихах под его авторством.

1. Как факт в начале августа 1944 года в беседе со спецпоселенцем Доржиевым возводил клевету на проводимые мероприятия Советского правительства по вопросу переселения калмыков.

2. В этом же месяце 1944 года в квартире Сусеева, в присутствии Жемчуева клеветал на мероприятия по поводу переселения калмыков, проводимые Советским правительством.

3. В ноябре 1944 года в квартире Сусеева, в присутствии Доржиева, Сусеева Кугультинов наносил клевету на одного из руководителей Советского правительства. Подобные антисоветские провокационные измышления высказывал спецпереселенцу Жемчуеву.



Л. С. БАКСТ. 1866—1924. ПОРТРЕТ СЕРЕБРЯКОВОЙ. 1897.



А. П. БРЮЛЛОВ. 1798—1877. ПОРТРЕТ КНЯГИНИ Н. С. ГОЛИЦЫНОЙ. 1822.

4. В феврале 1945 г. в приемной горотдела НКВД г. Бийск в присутствии Сусеева, Павлова и Жемчуева возводил клевету на постановление Советского правительства о спецпереселенцах.

5. В марте 1945 года на квартире Сусеева, в присутствии Павлова, их жен читал написанное им стихотворение антисоветского характера, в котором клеветал на жизненные условия спецпереселенцев калмыков, на правовое положение спецпереселенцев.

6. Помимо этого Кугультиновым, в период проживания в г. Бийск, была частично написана поэма, в 7 главах этой поэмы содержание было изложено антисоветского характера которая была изъята на квартире Кугультинова.

Проверив материалы дела, суд находит, что состав преступления по ст. 58—10 ч. 2 УК в отношении Кугультинова вполне доказан изъятием в его квартире стихов антисоветского характера, свидетельскими показаниями Сусеева, Павлова, Жемчуева».

...Вспоминаю, как летом сорок шестого года на пересыльном пункте в Новосибирске услышал разговор двух заключенных. Старший говорил: «Слыхал? Калинин помер». Тот в ответ: «Да что ты!» С сочувствием, сожалением... А первый: «Вот так-то! А ты, поди, все ему жалобы пишешь? У него жена сидела, а ты пишешь, чтобы он тебя спас...» Я вздрогнул, я не поверил этому. Потом, когда прибыл в Норильск, услышал от тех, кому верил, и о жене Молотова...

У Твардовского в поэме «По праву памяти» есть строки о том, что интернационал был там, в лагере. Действительно, в лагере межнациональные отношения решались очень просто. Там все определяли качества человека. Каков ты? Порядочный или подонок? Умный или глупый? Открытый или себе на уме? А уж какой ты национальности — это дело десятое.

Как-то в ЦДЛ был вечер «Норильск—Москва». Пока выступали бодрые норильчане, утверждавшие, что Норильск построен комсомольцами, я сидел и думал. Вел вечер Симонов Константин Михайлович, и когда он дал мне слово, я спросил: «Какими же комсомольцами был построен этот город?» Я рассказал о том, как с группой писателей приезжал в Норильск выступать, как из стены каждого дома, словно пятна на промокательной бумаге, выступали образы тех, кто строил, клал кирпичи Норильска. У меня в трудовой книжке: счетовод, калькулятор, сторож...

Так вот, однажды меня как счетовода послали провести инвентаризацию в Доме младенца, в лагере норильском... Да, представьте себе, были и там Дома младенцев. Ведь рождались дети от женщин-заключенных, которых насиловали охранники. Это были самые несчастные. Это были жены врагов народа... И вот я приехал. Только переступил порог — дети. Огромное количество детей до пяти-шести лет, в маленьких телогреечках, маленьких ватных брючках... И номера на спине и на груди, как у заключенных. Номера их матерей. Эти дети почти не видели мужчин, потому что обслуживающий персонал весь — женщины. Но они слышали, что есть еще мужчины — человеки, это — папы, это очень хорошие люди, это богатыри из сказок. Они сильные, они могут все. И вот подбежали ко мне, увидев, что я не женщина... «Папа! Папа!» — и дергают меня со всех сторон. «Папа, папочка, миленький, что ж ты так долго, что ж ты так долго...» Они, кажется, верили, что папа может быть один на всех, ведь воспитатели читали им слова на фасаде дома: «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!»

После я подумал: ничего удивительного. По всей стране раздавалось: «Спасибо товарищу Сталину!» Кричали колхозники, не имевшие паспортов, прикованные к земле и ничего не получавшие за свой рабский труд. «Спасибо товарищу Сталину!» кричали все, не смея сказать другого слова. Но самое страшное, когда дети — с номерами. И — «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!»

Навидался я... Показывали мне: видишь старика хромого? Оказывается, двадцать первого декабря сорок девятого года, в день семидесятилетия Сталина, двое заключенных (один из них — этот старик) договорились на лесоповале: чтобы весь срок на морозе с пилой не маяться, отрубить по ноге друг другу. Подобрали топор, облюбовали широкий пень, примерились, а не могут начать — страшно. Тогда один вынимает из-за пазухи сухарь, дает напарнику: «На, подкрепись, брат, да начинай с богом». И ногу на пень положил. Тот сухарь погрыз, взял топор, ну и... А потом и свою на пень, как договорились... Кровища фонтаном, мужики едва живы, охранник прибежал: «Дезертиры с трудового фронта! Симулянты, мать вашу!..» Тут один из увечных, белый, как снег, и прохрипел: «Чего ты, кум, лаешься в такой день? Это ж мы отцу родному нашему к юбилею на холодец... Пошлите ему». И сознание потерял...

Вот говорят: жертва культа личности. И некоторые охотно принимают это определение. А меня оно оскорбляет. Я не был жертвой, я боролся. Стихами, единственным способом, мне данным.

Перешагнув жестокости предел,
Решил Чингис украсить общий
жребий.
Он улыбаться подданным велел
Весь день, пока сияет солнце
в небе.
А кто дерзнет на жалобы и плач,
Тому отрубит голову палач.
И улыбался весь чингисов край,
И деспот убеждал молву мирскую,
Что создал в ханстве образцовый
рай...
А люди ждали сумерек,
тоскуя,
Чтоб в степь уйти, ничком в траву
упасть
И в одиночку выплакаться всласть.

Да, чтобы плакать, надо было прятаться. И упаси бог плакать вдвоем — групповое дело!

Думая о причинах становления тирании, я обращался к истории, литературе. И вот в пятьдесят втором году в Норильске купил книгу «Рассуждения о добровольном рабстве» Этьена Ла Боэси. Это знаменитый французский просветитель, друг Монтеня. Боэси рассуждает: как тиран становится тираном, угнетающим миллионы людей, не имея на то никаких прав? Тираны приходят к власти тремя путями: один — по праву наследства, другой — по праву завоевателя, третий — как бы избирается народом. И, казалось бы, этот третий должен быть сносным. Но нет! Как только он восходит на трон, так сразу становится жестоким, ибо боится, как бы не выбрали другого. Какой силой удерживает власть. Армией? Охраной? Нет. Сила — это пять или шесть человек, сумевших приблизиться к тирану. Они поддерживают его, заставляют быть злым не только его злостью, но и своей. Юлий Цезарь сознательно увеличивал количество должностей, выдумывал административные единицы, чтобы как можно больше было под ним тех, кому выгодна тирания. Далее Боэси развивает такую мысль. Поколениям, родившимся в рабстве, это рабство кажется естественным состоянием человеческой жизни, и они держатся двумя руками за него. Читая Боэси, я отчасти нахожу ответы на те вопросы, что задает нам сталинская эпоха.

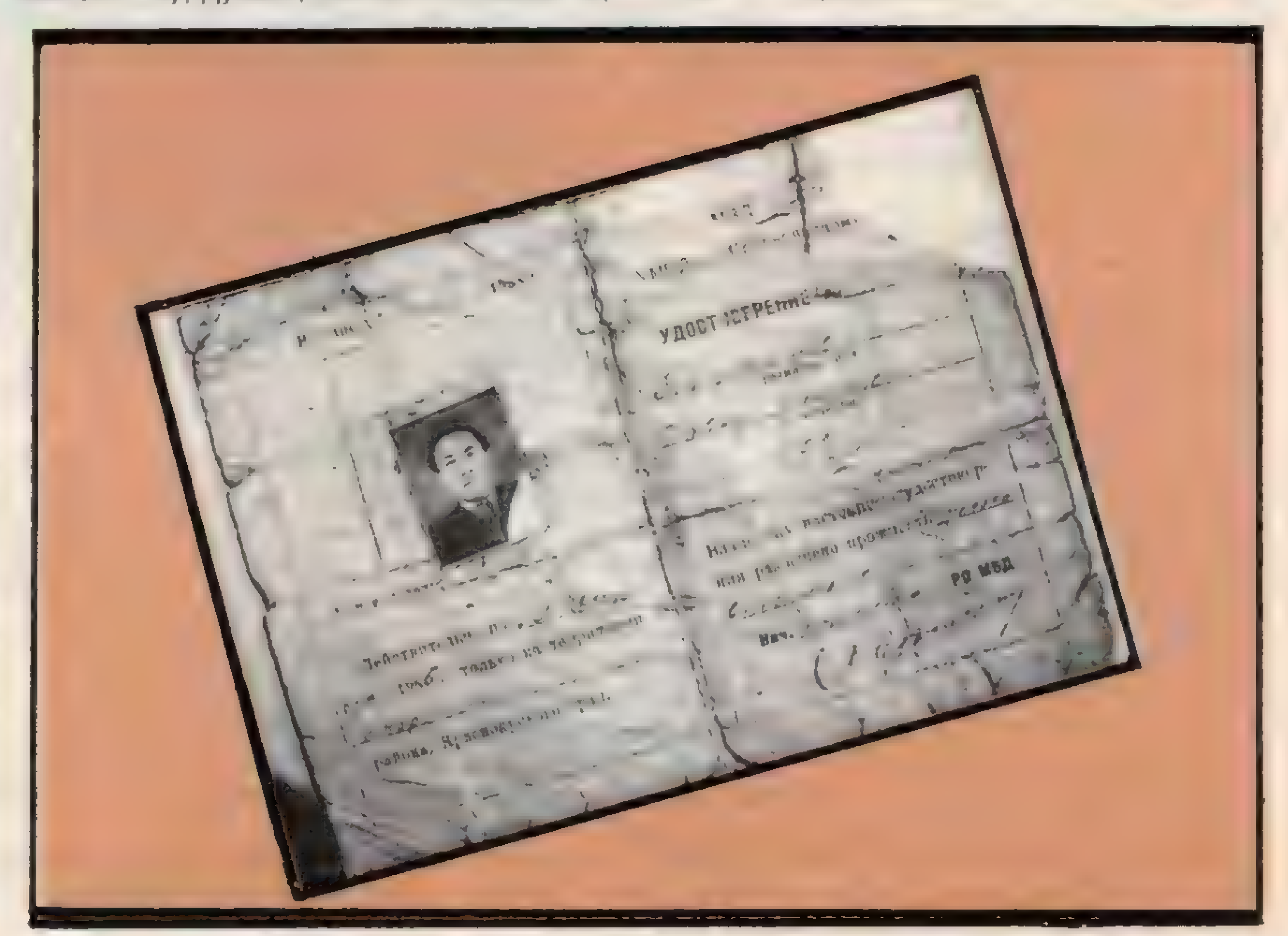
Герцен писал как-то, что в нас течет и финская, и монгольская кровь. И это не только не мешает нам быть славянами, но и дает возможность почувствовать себя кровными братьями и финнов, и монголов.

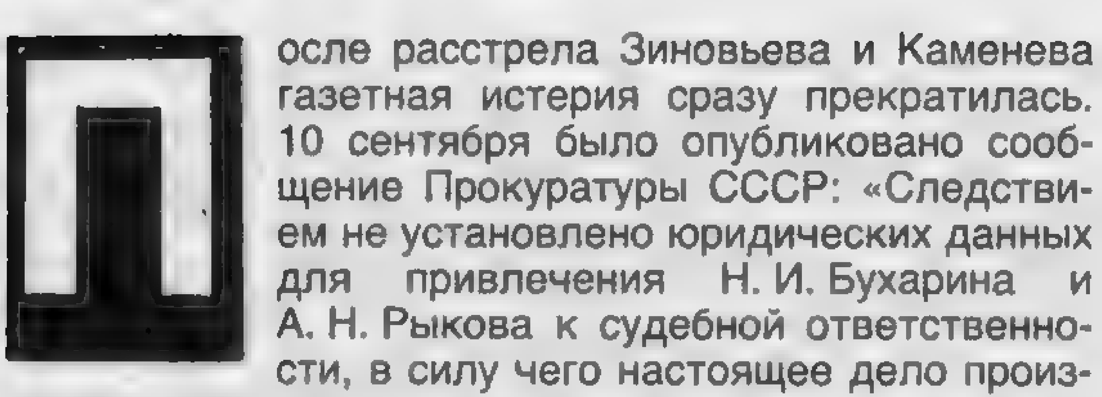
Когда мы читаем документы о восстании декабристов, о том, как ссылали в Сибирь целые роты, полки — мы содрогаемся. Но когда «Народы, в Сибирь шагом марш!» — это не умещается в рамках человеческого сознания. Ибо как можно оправдать уничтожение народов? Народов с древней культурой, вековыми традициями, чья единственная беда — малочисленность. Я вовсе не хочу сказать, что среди калмыков в ту войну не было предателей. Были! Но назовите мне, у кого их не было. Война... А сталинское переселение народов, еще раз повторяю, это неслыханное и невиданное преступление в истории.

Когда вернулись из ссылки, у меня было огромное желание оповестить весь мир, что мы возвратились на свои родные, исконные земли, что Калмыкия ни в чем не виновна. И вот сама судьба указала такую возможность. В пятьдесят девятом году мы могли отметить триста пятьдесят лет добровольного вхождения Калмыкии в состав России. Калмыцкий обком отправил письмо в ЦК КПСС с просьбой разрешить праздновать. Приходит ответ: так как Академия наук СССР не подтвердила дату, разрешить празднование не можем. Конечно, дело осложнилось, если Академия наук не подтверждает. Однако очень хотелось отметить славную дату. И вот в декабре пятьдесят восьмого — Учредительный съезд Союза писателей РСФСР. Мы знали, что по таким случаям устраиваются правительственные приемы и на этих приемах бывают руководители партии и правительства. Мы решили воспользоваться случаем. Вспомнили, что есть брошюра, изданная до революции. В ней сообщалось, что в девятьсот девятом его императорское величество Николай Второй произнес речь в честь трехсотлетия верной службы калмыков России. После этой речи в русских церквах были отслужены благодарственные молебны. Вот эту брошюрку я положил к себе в карман и пошел на прием по случаю организации Союза писателей РСФСР. Я оказался волею судьбы в числе тех литераторов, которые сидели за столами вместе с членами Президиума ЦК. И где-то в стороне сидел один Хрущев. Мы — за одним столом с Фурцевой, Шверником... Я прекрасно понимал, что существует сценарий, что все расписано: кто когда поднимется, что скажет... Соболев, Твардовский, Шолохов должны были подойти к Хрущеву. Сижу и думаю: они пойдут благодарить, а у меня важнее дело — о народе моем. Благодарность нужна, но она по весу гораздо легче того, что я хочу сказать. И думаю, нарушу-ка я все эти сценарии и непредвиденно, негаданно, нежданно поднимусь и подойду к Хрущеву. Так и сделал. И только я отправился, почему-то сразу справа оказался Ворошилов, слева — Микоян. Ну, думаю, вы мне не мешаете, подошли все втроем к нему. Хрущев недоуменно смотрит: что это, мол, за человек с восточным ликом? Я говорю: я — калмык, писатель. Он спрашивает: как калмыки сейчас? Я говорю: знаете, вот я перед съездом в степи заночевал у одной старой калмычки, утром проснулся, гляжу — старуха молится своему богу. Я подумал, откуда она сохранила изображение будды, пройдя тринадцать лет ссылки. Подошел ближе — вижу: никакого будды, а портрет человека. Ваш портрет, Никита Сергеевич. Я сказал ей: бабушка, это же грех — на портрет живого человека молиться. Она ответила: грех не грех, мне все простится, ибо этот человек вернул меня к костям моих предков, и мои кости рядом с ними будут теперь лежать. Мне стало интересно, что она дальше скажет. Я говорю ей: это партия вернула вас. Она глянула на меня, как на наивного молодого поэта, и сказала: когда нас ссылали, партия была эта же. Я рассказал об этом Хрущеву. Он произнес: видите, человек так уж устроен, если он не получает ответа в жизни, он ищет у того, кто, как ему кажется, исполняет волю всевышнего. Теперь-то мы знаем: не было никакой причины, чтобы ссылать народ! И не может быть никакой причины вообще, чтобы уничтожать народы. Эти хрущевские слова дали мне ключ к его натуре. Он не писал четвертую главу «Краткого курса», не занимался вопросами языкознания, но был вооружен совестью, что превыше всего. К концу нашего разговора я сказал: дорогой Никита Сергеевич, калмыки так хотели вас видеть! Мы собирались устроить торжества по поводу юбилея нашего, трехсотпятидесятилетия добровольного вхождения Калмыкии в состав России, да не удается это сделать. Он: почему? Я отвечаю: да вот, Академия наук не подтвердила дату. Хрущев: авторитета выше, чем Академия наук, у нас нет, товарищи. Я говорю: но правительство выше Академии. Он: какое правительство? Я отвечаю: его императорское величество Николай Второй... И брошюру показываю. Хрущев изумился: так Николашка уже праздновал?! Я говорю: да. Он расхохотался: ну, если Николашка праздновал триста лет, то нам сам бог велел отметить триста пятьдесят!

Через неделю Академия наук СССР подтвердила юбилейную дату.

...Я думаю, сейчас, когда переживаем очищение, учимся говорить правду, только правду, ничего, кроме правды, мы должны сказать в полный голос: насильственное переселение народов, уничтожение их — величайшее из преступлений Сталина. Это оттуда катится в наши дни клубок национальных проблем, и его теперь не так-то просто распутать. Но надо распутывать. Чтобы больше никогда не отступать от ленинской национальной политики. Ведь любое отступление от нее есть отступление от социализма.





ТРИДЦАТЬ ПЯТЫЙ И ДРУГИЕ ГОДЫ

Анатолий РЫБАКОВ

Главы из романа

П

После расстрела Зиновьева и Каменева газетная истерия сразу прекратилась. 10 сентября было опубликовано сообщение Прокуратуры СССР: «Следствием не установлено юридических данных для привлечения Н. И. Бухарина и А. Н. Рыкова к судебной ответственности, в силу чего настоящее дело производством прекращено». Нарком внутренних дел Ягода снят со своего поста и заменен неким Ежовым. Снятие Ягоды свидетельствует о том, что он, Ягода, и виноват в незаконных репрессиях и безосновательных обвинениях Бухарина и Рыкова. Конечно, ничего без ведома Сталина Ягода не мог делать и Ягода не более, как козел отпущения, но Сталину пришлось отступить, партия оказалась сильнее Сталина, партийные кадры оказались не такими пешками, какими представляла их Лидия Григорьевна Звягуро; они оказались способными противостоять Сталину, ограничить, поставить преграду его террористической политике. Возможно, Сталин маневрирует, значит, он не так уже всесилен, а партия, значит, бдительна.

Но самое главное, что поразило Сашу: проект новой Конституции. Даже трудно поверить. Вводится всеобщее равное и прямое избирательное право при тайном голосовании, гарантируются полные демократические права и свободы для граждан СССР, равноправие, независимо от пола, национальности, имущественного положения, обеспечивается и гарантируется свобода слова, печати, совести, собраний и митингов, уличных шествий и демонстраций, объединения в общественные организации.

Все это означает поворот в сторону свободы, демократии и законности. Конечно, к ней мало подходит название «Сталинская конституция». Но не в названии дело! Всем можно будет свободно выражать свои мысли, даже печататься, свободно собираться на митинги, устраивать демонстрации. Процессы, подобные тому, что был в августе, уже невозможны и никогда не повторятся. Конец беззаконию! Даже Сталин сказал: «Стабильность законов нужна нам теперь больше, чем когда бы то ни было...» Да, могучим стал Советский Союз, если смог принять такую Конституцию! Советское правительство заявило, что не считает себя связанным с соглашением о невмешательстве в испанские дела; это означало, что мы будем помогать республиканской Испании, выполним свой интернациональный долг, дадим бой фашизму. Мелькнула информация о добровольцах, едущих в Испанию для защиты Республики. Если Сашу освободят, а его теперь не могут не освободить, он тут же запишется в добровольцы, пусть его пошлют в Испанию, где коммунисты сражаются с фашистами, где коммунистический Пятый полк отстоял Мадрид.

Снова забрезжила надежда на свободу. Теперь Сашу охраняет закон. Конституция, новый революционный подъем. Никто не посмеет прибавить ему срок, его обязаны освободить. 19 января он явится к Алферову и потребует освобождения. Задержка, хотя бы на один день,— грубое нарушение закона, он даст телеграмму Калинину; виновные будут строго наказаны. Закон есть закон, он обязателен для всех и никто не имеет права держать человека в ссылке даже лишний день.

И в предчувствии этого дня Саша забеспокоился, даже засуетился. Если его отпустят, а его не могут не отпустить, то до Тайшета должны дать прогонные, а потом? Билет до Москвы стоит рублей 50, не меньше, и что-то надо жрать в дороге. Но деньги у него есть. Хотя он и запретил, мама высылает ему по-прежнему каждый месяц 20 рублей. А он живет и кормится у хозяина за счет своих трудодней, и на рыбалку ходит, и на сенокосе был. Деньги тратил только на курево и керосин. Теперь будет экономнее.

Наконец, наступило 19 января 1937 года.

Накануне Саша сложил вещи — может произойти всякое: могут сразу арестовать, могут приказать немедленно отправиться в Красноярск. Конституция Конституцией, закон законом, но в НКВД свои законы.

В эту ночь Саша долго не мог заснуть, обдумывал разговор с Алферовым, хотя разговор был ясен. И все же Саша проговаривал и проговаривал его, представлял возможные осложнения, предчувствовал неожиданности.

Три года ждал он часа своей свободы,— получит ли он ее? А вдруг Алферова нет в Кежме, уехал в тот же Красноярск, а уезжает он туда на несколько недель, по району ездит тоже около месяца, район громадный, а транспорт — кошевка зимой, лодка летом. Если Алферова нет, говорить не с кем, надо будет ждать его возвращения, опять страдать и мучиться. Невеселые мысли!

Из дома Саша вышел засветло, в семь утра. Двенадцать километров — три часа ходу, в десять будет у Алферова.

Несколько дней не выпадал снег, санная дорога была довольно тверда и утоптана. Только на широких лапах елей снег висел пухлыми подушками («кухта» по-местному). Казалось, воздух и тот замерз. Однако перелетают с дерева на дерево синички: где-то, будто далеко, долбил стволы дятел, красногрудые снегири красуются на верхушках деревьев, возятся в ветвях длинноклювые кедровки... Эти редкие звуки леса только подчеркивали его тишину.

Иногда слева в лесной прореди виднелась белая гладь Ангары, потом пропадала. Мороз был градусов на тридцать. На Саше теплое белье, свитер, валенки, пальто и шапка с опущенными ушами и накухтарником — куском ткани, который пришивался сзади у шапки, чтобы не падал снег за воротник; башлыка у Саши не было; в руках толстая палка,— с ней веселее идти, да и может пригодиться — волка отогнать.

Как Саша и рассчитывал, в десять он добрался до Кежмы, подошел к дому Алферова. В заиндевелом окне на кухне мелькал огонек: то ли от лампы, то ли от печки... У крыльца были видны следы, вчера ходили... кто-то дома есть. Саша постучал в калитку металлическим кольцом,— ни звука в ответ, даже собака не залаяла. Спит, наверное, Алферов. А ждать нельзя, мороз забирался под пальто, в валенках мерзли пальцы; если будет стоять, то окоченеет. Саша постучал в окно, где мерцал огонек. Постучал еще... Ему показалось, что по кухне проплыла чья-то тень, проплыла и остановилась у окна, видно, пытаясь разглядеть, кто стучит. Тень удалилась, прошло некоторое время — хозяйка, наверное, одевалась в теплое. Заскрипела дверь на крыльце, послышались шаги по снегу, загремел засов, калитка открылась. Перед Сашей в валенках, шубе и платке стояла хозяйка.

— Вам кого?

— К товарищу Алферову.

— Рановато пришли, спят они.

— Я из Мозговы пришел.

— Проходите тогда, подождите.

Вслед за хозяйкой Саша прошел в сени. Как и она, снял валенки, остался в носках; хозяйка показала ему на бахоры в углу, он надел их и прошел на кухню.

— Раздевайтесь, садитесь, здесь тепло,— сказала хозяйка.

Саша снял пальто, шапку, повесил на вешалку, огляделся.

Он и у своей хозяйки любил посидеть на кухне утром, когда печь еще не остыла со вчерашнего вечера; на шестке горит уже под таганком огонек, разогревается завтрак, лежит только что принесенная из сарая вязанка дров, и от нее приятно пахнет холодком и березовой корой.

Хозяйка поставила на стол моченые ягоды, пирог с рыбой, налила чай в стакан.

— Закусывайте, чайку попейте, согреетесь.

— Спасибо.

Саша обеими руками взял стакан, согрел озябшие пальцы.

— Издалека пришли, не завьюжило дорогу-ту?

— Хорошая дорога.

Саша хлебнул чая.

В доме хлопнула дверь, послышался кашель мужчины-курильщика.

— Встали Виктор Герасимович; у них свой умывальник, там и моются, там и бреются,— сказала хозяйка, как бы успокаивая Сашу тем, что Алферов на кухню не выйдет,— у них там и ход свой.

Снова хлопнула дверь — Алферов вернулся со двора, постучал валенками, стряхивая с них снег. Потом звякнул стержень в рукомойнике, послышался плеск воды, сливаемой в таз.

Это прозвучало сигналом для хозяйки; она понесла в столовую самовар, тарелки с ягодами, тот же пирог, которым угощала Сашу, вернулась, поставила на таганок сковородку, разбила яйца, жарила яичницу.

Было слышно, как Алферов вышел в горницу, отодвинул стул, видимо, сел, наливает чай. Хозяйка сняла с шестка сковородку с яичницей, понесла в горницу.

— Добрего утречка, Виктор Герасимович, спали как, ништо не беспокоило?

— Спасибо, хорошо спал,— ответил Алферов.

— Тут вас дожидаются, Виктор Герасимович.

— Кто дожидается?

— Мужчина дожидаются, Виктор Герасимович.

— Где он?

— На кухне сидит; на улице мороз хлящий, пустила погреться, из Мозговы он.

Отодвинулся стул. В дверях показался Алферов, посмотрел на Сашу.

— Вы? Зачем приехали?

Саша встал.

— Вчера кончился мой срок...

— Ах так,— не дал ему договорить Алферов,— заходите ко мне.

В

Вслед за Алферовым Саша вошел в горницу, сел на указанное ему место за столом, напротив Алферова.

— Чай пить будете?— спросил Алферов.

Лицо у него было чуть одутловатым — не то со сна, не то от выпитых накануне рюмок. С тех пор, как Саша видел его в последний раз, он заматерел, заугрюмел. Был в брюках, засунутых в валенки, в овчинном жилете поверх рубахи.

— Спасибо, меня ваша хозяйка уже напоила и накормила.

— Она у меня гостеприимная. Придут меня убивать, а она сначала их накормит и напоит... «Приютила, накормила и согрела сироту»,— помните такую рождественскую сказку?

— Помню.

— Да... Как там?.. «Вечер был, сверкали звезды, на дворе мороз трещал, шел по улице малютка, посинел и весь дрожал... Боже, говорит малютка, я устал и есть хочу, кто же в этом мире пожалеет сироту?!» Вот вас добрая старушка пожалела, согрела, а то бы замерзли на улице. Пешком пришли?

— Пешком.

— Да,— принимаясь за яичницу, продолжал Алферов,— «напоила, накормила и согрела сироту». В детстве, помню, нянюшка мне это читала, плакал я тогда от жалости к сиротке. А потом забыл. И ни разу с тех пор не вспоминал. А теперь вспомнил.

— На меня глядя?

— Возможно.

— Пожалели, значит,— усмехнулся Саша.

— Допускаю. Я сейчас, извините, до ветру выскакивал, так чуть задницу не отморозил, хотя сортир у нас хороший, в сарае, не дует, а вы двенадцать верст отмахали. Вот я вам и посочувствовал в стихотворной форме. Вы ведь не чужды литературе, кажется?

— Да, люблю читать. Конечно, когда есть что.

— С этим здесь туговато,— согласился Алферов,— раньше вас учительница снабжала книгами, а теперь ее нет. Почему бы вам с новой не познакомиться? Тоже молодая, интересная.

В ответ Саша хмуро промолчал,— вопрос был бестактный.

— Не нравится, значит,— засмеялся Алферов,— вот видите, как вы вольготно живете, Панкратов. Для заключенного, для тысяч заключенных, для со-

Окончание. См. «Огонек», №№ 30—34.

тен тысяч заключенных,— он многозначительно посмотрел при этом на Сашу, давая ему возможность оценить громадность цифры,— так вот, для заключенных женщины вообще недоступны. И уж если кому-нибудь выпадет такое счастье, то он разбираться не будет. Была бы баба. А вы привередничаете, вам подавай не только с образованием, но чтобы и по другим статьям все было на высшем уровне. Вот какая у вас вольготная жизнь!

Сашу тяготила болтовня Алферова; нашел время, сейчас, когда решается его, Сашина, жизнь. Алферов, конечно, зря не болтает, за его болтовней что-то стоит. И про новую учительницу заговорил не зря. Значит, уже знает, что на Сашу навесили новый срок, но впрямую не говорит, хочет позабавиться, поиграть на нервах.

Саша опустил голову.

Тоска, тоска... Нет, жизни в Мозгове, в этом жутком одиночестве, он больше не выдержит. Да и к черту такая жизнь! Мама? Ну, что мама? Примирится в конце концов, дети и в младенчестве умирают.

— Что же делать человеку при такой вольготной жизни,— продолжал между тем Алферов,— тем более человеку, склонному к исторической науке. А? Тем более читать нечего!..

И не дожидаясь Сашиного ответа, заключил:

— Писать самому. А? Правда?

Понятно. Прочитал его рассказы, посланные маме. Скотина все же, мог бы помолчать об этом.

— Я ведь тоже пишу,— продолжал Алферов,— правда, не по истории, а по философии. Могу похвастать,— он вышел в кабинет, вернулся с пачкой отпечатанных в типографии листов,— видите, верстка моей новой книги, здесь написал, в Кежме: «Начала философии Декарта». Вы не читали Декарта? Нет? Любопытный философ, пытался соединить бога с реальным существованием мира. Не интересуетесь философией? Напрасно. Историк должен быть философом и наоборот.

Он помолчал, подумал, усмехнулся:

— Угадываю ваши мысли: сукин сын, Алферов, читал мои работы! Влез грязными лапами в мою творческую душу. Признаюсь: да, читал, да, влез... Должность такая. И не беспокойтесь: ваши творения ушли туда, куда вы их послали. Но я ваш первый читатель и первый критик. Хотите знать мое мнение?

Пытка! Рассуждает вместо того, чтобы объявить ему его судьбу. Но надо взять себя в руки! Он еще поборется! Если он сейчас занервничает, то покажет Алферову свою неуверенность в освобождении, а этого он не должен показывать: с сегодняшнего дня он свободен и точка! И катитесь все к трепаной матери!

Без большой охоты он ответил:

— Интересно.

— С точки зрения формы, творения ваши беспомощные, наивные, даже примитивные. Эти выспренние фразы, обилие эпитетов, красивости...

Алферов налил себе чаю. Предложил Саше, но Саша отказался.

— Так вот, продолжаю... Великая французская революция — это один из самых драматических и поучительных, я подчеркиваю это слово, поучительных моментов человеческой истории. А вы пишете об отдельных лицах, об отдельных эпизодах. Для кого? Для детей, юношества, взрослого читателя? Непонятно. Какой вывод они должны сделать из прочитанного? И потом,— он пристально посмотрел на Сашу,— вы не боитесь, что редактор будет искать параллели?

— Какие параллели? — не понял Саша.

— Ну, как какие? У них была революция и у нас революция. Чем кончилась их революция? Термидором, единоличной властью Наполеона, империей...

— Но позвольте, та революция была буржуазная, а у нас — пролетарская.

— Да, да, конечно,— оборвал разговор Алферов,— ну, что ж, может быть, и напечатают, конечно, если вы сами будете в порядке; как вы понимаете, произведения заключенных у нас не печатают. Так что желаю вам успеха, хотя и сомневаюсь.

Он замолчал, вытер рот полотенцем, закурил, протянул Саше коробку с папиросами.

— Я привык к своим.

— Курите свои, у меня тут и самосад курят.

Прищурившись, Алферов смотрел, как Саша вынимает папиросу, зажигает спичку, прикуривает, гасит спичку в пепельнице, которую ему Алферов придвинул, боится, что ли, что Саша кинет спичку на пол?

— Товарищ Алферов,— сказал Саша,— вчера кончился срок моей ссылки.

— Да? — делая удивленное лицо, переспросил Алферов.— Разве?

— Да,— повторил Саша,— и я уже сказал вам об этом. Я осужден на три года с учетом предварительного заключения, арестован 19 января 1934 года, сегодня — 19 января 1937 года. Следовательно, с сегодняшнего дня я свободен. Прошу выдать мне документы.

— Какие документы вы имеете в виду?



Рисунок Геннадия НОВОЖИЛОВА

— Какие полагается выдавать в подобных случаях. Вы, наверное, знаете.

— Ну, выдам я их вам, что вы будете с ними делать?

— Уеду отсюда.

— Куда?

— Домой.

— В Москву?

— В Москву.

— В Москву вам не положено.

— Почему?

— Вы попадаете под действие Постановления СНК СССР о паспортной системе. Есть города, в которых вы не имеете права жить. К ним относится и Москва.

— Но ведь это постановление вышло до новой Конституции.

— Новая Конституция,— возразил Алферов,— не отменяет законов и распоряжений Советской власти. Некоторые законы, вернее правила, будут изменены, пересмотрены, скажем, о порядке выборов и т. д. Но законы, охраняющие диктатуру пролетариата, останутся в силе. Вы читали доклад товарища Сталина о Конституции?

— Читал.

— Товарищ Сталин прямо говорит: «Проект новой Конституции действительно оставляет в силе режим диктатуры рабочего класса». Чего вы еще хотите? И, кстати, вы заметили, в Конституции нет пункта о свободе передвижения; так он обычно формулируется

в буржуазных конституциях — «свобода передвижения», то есть свобода выбирать место жительства, свободно селиться там, где захочешь. Бродяжничества мы не допустим; ограничения паспортной системы пока не отменены, да и вряд ли будут отменены.

Отвернувшись от Саши и глядя в окно, он опять многозначительно добавил:

— Наоборот, я думаю, будут усилены.

— Пусть будет так, как вы говорите,— сказал Саша,— но есть действующий закон: человека нельзя держать в заключении ни одного дня дольше положенного ему срока. Этого закона никто не отменял.

— А где вы видели этот закон?

— Читал,— соврал Саша.

— Неправда, не могли вы его читать, такого закона нет. Есть логика: если у заключенного кончился срок, а его не отпускают, следовательно, его держат в заключении без всякого на то основания, то есть совершают беззаконие.

— Ну вот, и отпустите меня.

— Я вас и не держу.

— Но я не могу уехать без документов.

— А документы ваши в Красноярском краевом управлении НКВД. Расстояния у нас тысячекилометровые, и ссыльных на этой территории еще хватает. Не успели прислать ваши документы точно к 19 января; пришлют в свое время, ждите. Не хотите ждать, пожалуйста, дам вам проходное свидетельство до Красноярска, там вы явитесь в краевое управление НКВД и потребуете свои документы. А уж какой документ вам там дадут, этого уж я не знаю.

В последних словах прозвучала угроза: документ могут дать об отбытии срока, а могут и о назначении нового срока.

Саша молчал.

— Так что выбирайте,— заключил Алферов,— дожидаться документов здесь или отправиться за ними в Красноярск.

Саша молчал, думал, потом сказал:

— Освобождение я должен получить сегодня. Если не получу, дам телеграмму товарищу Калинину.

Алферов засмеялся:

— И ее тут же положат Калинину на стол?

— Не знаю. Но кто-нибудь на телеграмму ответит.

Алферов опять прищурился.

— На свое письмо товарищу Сталину вы получили ответ?

Так. Письмо Сталину, наверное, у него в столе. Поэтому смеется.

— Вы поступили правильно, послав письмо товарищу Сталину?

— Разве я не имею права обращаться к нему?

— Имеете, конечно. Все обращаются к товарищу Сталину, читаете газеты, знаете. Рапортуют о достижениях, благодарят за помощь в работе, благодарят за руководство. Бесспорно, обращаются и осужденные, их, как вы понимаете, не мало. Обратились и вы, просидели половину срока, не жаловались, не обижались и вдруг — бац! Сижу неправильно, освободите! Разве в вашем деле появились новые обстоятельства? Нет, новые обстоятельства не появились. И видите, вам даже не ответили. Для того чтобы ответить, надо иметь основания к пересмотру дела, а оснований нет.

— Нет, значит, нет,— сказал Саша,— но человек имеет право на надежду, этого его нельзя лишить.

Алферов отодвинул стакан, поставил локти на стол, серьезно смотрел на Сашу.

— Вы правы, человек имеет право на надежду. Но человек должен обдумывать свои поступки — это его обязанность. Вы серьезно рассчитывали, что ваше письмо дойдет до товарища Сталина? Что ваше дело пересмотрят? Только потому, что вы обратились к товарищу Сталину? Нет, на это вы не рассчитывали и не надеялись. Вы слишком умны для этого. Это был необдуманный поступок. Написав письмо товарищу Сталину, вы напомнили о себе, о своем существовании, напомнили органам, к которым ваше письмо и попало. Более того, вы обвинили органы в том, что вас неправедно осудили. Нужно это было вам?

Саша молчал. Что за человек перед ним? Друг? Враг? Прямо говорит: не следовало писать Сталину, не надо раздражать органы, не надо привлекать к себе их внимание. Ведь Саша сам всегда это прекрасно понимал. И все-таки написал.

— Возможно, и не следовало писать,— сказал Саша,— но я написал, давно написал, и нет смысла говорить об этом. С сегодняшнего дня меня незаконно держат в ссылке. На это я наверняка имею право жаловаться. Я не знаю, когда к вам придут мои документы, могут вообще не прийти.

— На воле вам будет лучше?

— Свобода всегда лучше тюрьмы.

— Вы правы: свобода лучше тюрьмы.

Алферов встал, прошелся по горнице, как и в прошлый раз, подошел к комоду, взял за горлышко графин с наливкой, но не налил себе, как в прошлый раз, а, подхватив две рюмки, поставил все это на стол.

— Ну что, Александр Павлович, прошлый раз вы не хотели выпить со мной, а теперь, надеюсь, не откажетесь? Тогда вы были административно-ссыльный, а я ваш жандарм; теперь же, как вы утверждаете, вы свободный человек, значит, выпить можете, более того, обязаны отметить такую дату.

Он налил обе рюмки, поднял свою, кивнул Саше, выпил.

Саша выпил свою. Наливка была горьковатая, но вкусная.

— Итак,— сказал Саша,— деваться мне некуда. Дожидаться здесь документов бесполезно; я этого не могу и не хочу. Дайте мне проходное свидетельство до Красноярска, там буду искать законность и правду.

— У меня не нашли, там будете искать,— усмехнулся Алферов и кивнул на графин:

— Понравилось?

— Вкусная.

— Еще по одной?

— Можно еще по одной.

Алферов выпил, вытер губы, дождался, когда Саша выпьет.

— А вы не опасаетесь такой ситуации: вы поедете в Красноярск по зимней дороге; прогонных у меня на такие вояжи нет, добираться будете за свой счет, дороговато получится?.. Допустим, доберетесь. Явитесь в краевое управление НКВД, а там скажут: «Зачем вы сюда явились; ваши документы ушли в Кежму; возвращайтесь и получите их у товарища Алферова». А? Понравится вам такой оборот?

Саша отодвинул рюмку, гневно посмотрел на Алферова. «Хватит! Нашел себе утреннюю забаву, бездельник!»

— Товарищ Алферов!

Но тот перебил его:

— Зачем же так официально? Мы же с вами выпили. Называйте меня Виктором Герасимовичем.

Но на Сашу уже накатило, и он повторил:

— Товарищ Алферов! Извините, гражданин Алферов! Это праздный и унизительный разговор. Я официально прошу дать мне справку об окончании срока ссылки или дать мне письменный отказ с указанием причин.

— Да,— задумчиво проговорил Алферов,— не поняли вы меня... Жаль... Впрочем, когда-нибудь поймете.

Он вышел в соседнюю комнату, служившую ему кабинетом, сел за стол, долго писал, заглядывал в какую-то папку, опять писал. Потом промокнул написанное пресс-папье, встал, вернулся в горницу.

— Так вот, Александр Павлович,— Сашино имя-отчество он иронически подчеркнул, сделав на нем ударение,— вот вам справка об окончании срока. Тут есть графа, видите,— он показал,— «Куда направляется». Я вам написал «Кежма». Это значит, что от меня вы прямо направитесь в милицию и вам взамен этой справки выпишут паспорт, временный, трех- или шестимесячный, какой дадут, такой и берите. Никаких вопросов не задавайте. Получите паспорт, сегодня, самое позднее — завтра, уезжайте! Завтра как раз пойдет почта в Тайшет, с ней постарайтесь устроиться. Прогонных я вам выдать не могу, поскольку выписал справку на Кежму, как-нибудь обойдетесь; почтальон с вас лишнего не возьмет; кинете в сани свой чемодан, сами пойдете пешком. В Москву вам заезжать не следует. Поезжайте в какой-нибудь нережимный город, обменяйте временный паспорт на постоянный и снова уезжайте куда-нибудь подальше от Москвы. Все стремятся на сто первый километр — не советую, там слишком много таких, как вы, а вам не надо в кучу, вам надо отделиться. Вам не нужны лишние связи, у вас вообще не должно быть никаких связей. Вы молодой, здоровый, красивый. Засиделись три года на одном месте, теперь поездите, покатайтесь по России-матушке, повидайте мир. В общем, на этот раз вы должны понять, о чем я говорю; мои советы должны пойти вам на пользу. Я вас не обманывал; ваши документы из Красноярска действительно не пришли. Но именно поэтому я вас и отпускаю...

После паузы он многозначительно добавил:

— Именно поэтому и тороплю. Счастливого вам пути!

Он протянул руку и задержал в ней Сашину:

— Запомните, все, что я вам говорил... Впрочем, мы говорили только о ваших исторических трудах. Так ведь?

— Да,— твердо ответил Саша,— только так.

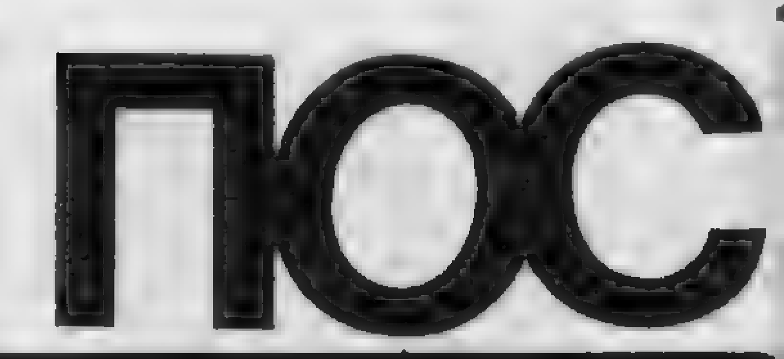
Саша не знал, что уже два дня в Москве идет новый грандиозный процесс над Пятаковым, Радеком, Сокольниковым, Мураловым и другими видными деятелями большевистской партии.

А вот Алферов знал.

Этим процессом начинался 1937 год.

Гонорар за опубликованные в журнале «Огонек» главы из романа «Тридцать пятый и другие годы» автор просит перечислить на строительство в Москве памятника жертвам сталинских репрессий (счет № 700454).

Окончание.
Начало на стр. 10



СМЕРТЬ В ЧУЖОЙ КВАРТИРЕ

В октябре 1987 года — через месяц после смерти Виктора Платоновича — я выступал в ленинградском лектории и рассказал о нашей последней с Некрасовым встрече. Вскоре мне позвонил один из слушателей, представился детским другом Виктора Платоновича и одним из соавторов его мальчишеского журнала. Я попросил о встрече. Но Александр Борисович Воловик уезжал в свой родной Киев, и мы перенесли свидание на следующий месяц.

Конечно, сунул нос в единственную сохранившуюся у меня книгу Некрасова «В жизни и письмах». На странице десятой прочитал о еженедельном журнале «Зуав»: «Сотрудников в нем было четыре: я, Валя Цупник, Шура Воловик и еще один Шура по фамилии Фарбер. Руководство коллегиальное».

Сразу вспомнился Фарбер из книги «В окопах Сталинграда» и тот Фарбер, которого в кино играл Смоктуновский, и как этот очкарик Смоктуновский входит в блиндаж, на пороге которого лежит убитый; и как Смоктуновский очень интеллигентно перекладывает ногу убитого, освобождая проход...

С сотрудником «Зуава» мы после неоднократных перезваниваний договорились встретиться 25 ноября у меня дома в 14.00.

Первой фразой Воловика было:

— Простите, не буду снимать обувь,— ботинки новые, тесные.

Такие мелочи меня не беспокоят. А настроение у Александра Борисовича было хорошее, шутливое. Объяснил, что удрал из-под каблука супруги, ибо через четыре дня у него день рождения и дома полным ходом идут приготовления.

Бросились в глаза внешняя непохожесть детского дружка Некрасова на самого Виктора Платоновича. Гость был мужчина чуть ниже среднего роста, плотной комплекции, со значком ветерана-строителя на лацкане пиджака.

Он принес с собой старомодный пухлый портфель с тремя отделениями. И выложил на столик бесценные сокровища: это были самые первые номера «Зуава», о которых мечтал незадолго до смерти Некрасов; были ксерокопии других номеров их журнала, присланные Воловику Некрасовым из Парижа; были письма еще доэмигрантских времен и переписка самых последних месяцев; были фото разных годов. Короче говоря, глаза разбегались.

Но в первую очередь следовало расспросить гостя о нем самом, его военном прошлом и выудить какие-нибудь детали из совместного с Некрасовым детства. Однако Александр Борисович о себе рассказывать категорически не хотел, от самотемы увиливал замечательно. Зато очень художественно рассказал, как выполнил предсмертную просьбу Виктора Платоновича и навестил могилу его матери на Байковом кладбище в Киеве. Найти могилу было очень трудно, ибо для этого следовало сперва найти какую-то киевскую письменницу, а застать ее дома никак не удавалось.

Затем он собственноручно нарисовал план могилы — сделав это с инженерной четкостью,— оказался инженером-строителем мостов. Практически, кроме этого факта и того, что Александр Борисович проработал в одном институте ровно пятьдесят лет, я о нем ничего и не успел узнать.

Решили почитать письма Виктора Платоновича.

Воловик объяснил, что их переписка возникла всего год тому назад, ибо Некрасов, очевидно, боясь принести неприятности своему дружку, упорно не сообщал ему свой парижский адрес.

«12.12.86. Шура, Шурка, дорогой мой Воловичок! Вот уж не ждал! Вот обрадовал! Вынул из ящика конверт, вижу, что из Союза, решил, что от моих ленинградских «девушек», и сунул в карман. Вечером, сидя в кафе за кружечкой пива, обнаружил его в этом самом кармане и... Ну, дальше сам можешь догадаться...

Значит жив-здоров, естественно на пенсии (а я-то, грешным делом, думал, что перебрасываешь попрежнему мосты через Неву и всякие там Иртыши...), да к тому же встречаешься и с Капами, Лельками, Борьками и прочими... Этому завидую! Всем им привет, новогодние пожелания и... мой адрес. А Аня и Саша? Что, где и как они?

Я тоже, перешагнув некий юбилейный срок, жив-здоров, хотя на носу очки, а во рту что-то искусственное. В отличие от тебя не пенсионер, вкалываю, что-то пишу, произношу, а в свободное время летаю вокруг земного шара. Япония, Австралия, Бра-

...ЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА

зилия, естественно, США, включая Гавайи. Прилагается фотография, кстати, изображает меня в Токио. С еще большим удовольствием посетил бы ваш Питер или наш многострадальный Киев... Впрочем, судя по фотографиям и альбомам (а у меня их много), лучше и краше от всяких архитектурных и скульптурных излишеств он не стал...

Тронут твоим желанием посетить мамину могилку на Байковском кладбище. Но так ты ее не найдешь. Позвони в Киеве по телефону, там одна письменница проживает, она охотно будет твоим гидом.

За сим, дорогой мой Шура, объятия и поцелуи тебе и Гизе! Хотя у тебя и много всяких дел, пиши. Вика».

«2.2.87 (получено 21.02.87). Дорогой Шура! Посылаю тебе фотокопии нашего с тобой «Зуава». (Куда делись «Ночные разбойники» — ума не приложу.) Сделал и цветные фотографии, но проявлять отдам, когда закончится пленка. Тоже пришлю. Все же раритет... Если тебе удастся сделать нечто подобное с твоими номерами — радости моей не будет конца. Будете у Борьки — самый горячий ему привет. Пусть и он раскачается и черкнет несколько слов. Ведь нам вместе вроде уже крепко за двести!!!

А не загадываешь ли ты в период нынешних перестроек, демократизации и либерализаций сигануть не только на Кавказ, а, допустим, в славный наш город Париж, который действительно стоит обедни. Я, во всяком случае, хоть в противоположность внуку Владику и не офранцузился, но парижанином стал. Знаю и люблю этот городишко...

О получении «Зуава» сразу же напиши. Твое письмо шло 5 дней — с 27.01 по 2.02. Прогресс!..»

На этом интересном месте раздался междугородный телефонный звонок. Звонила из Москвы Кацева — переводчица Белля и Макса Фриша, с последним она познакомила меня в Ленинграде прошлой зимой. С Евгенией Александровной Кацевой мы придумали некую игру. В войну она была переводчицей в морской пехоте в звании старшины II статьи. И когда звонит, представляется по всей форме: «Капитан, разрешите обратиться? Докладывает старшина второй статьи! Разрешите продолжать?..»

— Угадайте, кто сидит у меня в гостях?— спросил я, ибо знал, что Евгения Александровна была в приятельских отношениях с Некрасовым и никогда не пыталась забыть его: нельзя работать над Беллем или Фришем, не держа в уме, в воображении прозу Некрасова. Конечно старшина II статьи обрадовалась, узнав, что здесь сидит жив-живехонек друг Виктора Платоновича. А передо мной на столе детские журналы Вики, фотографии, письма к Воловику.

Ну, она: «Ох и ах!» Затем рассказала о неизвестном мне факте. Оказывается, за двое суток до смерти Некрасову прочитали заключительные строки из выступления Вячеслава Кондратьева в «Московских новостях», где Кондратьев заявил на весь мир, что «Окопы» остаются нашей лучшей книгой о войне. И Некрасов — он был еще в сознании — попросил дважды перечитать эти строки. Так что умер, зная, что Родина его помнит. Евгения Александровна попросила меня пересказать этот факт Александру Борисовичу, подчеркнув, что это не легенда, что знает она об этом из первоисточника.

Я, конечно, передал. Правда, ни о Белле, ни о Фрише Александр Борисович слыхом не слыхивал. Хотя в письме Некрасова, которое открытым лежало на столике между нами, Виктор Платонович отмечает, что в детстве Воловик подавал блестящие беллетристические надежды: «Помнишь твою захватывающую «Тайну бандитов», которая заканчивается весьма, на мой взгляд, динамично: «Геркулес» догнал «Баторию» и всадил ей в борт стальной таран, находившийся на носу корабля (продолжение следует)». «Как видишь, ты, Шурка, определенно подавал надежды,— продолжает Некрасов.— Но где же продолжение «Бандитской тайны»? Присланные тобою фото возвращаю».

— Эти фото я ему посылал,— объяснял Александр Борисович.— В начале июня. Наши фото конца шестидесятых. А он вот вернул: оказывается, они у него есть. Ему, знаете, разрешили все-все с собой вывезти — удивительно... Простите, мне что-то дышать трудно. Я встану, пожалуй...

Он встал со стула, я продолжал читать очередное письмо Некрасова вслух:

— «Середина июня, а ходим все в кожаных куртках. Дожди. Говно. На юг не поехал. Пляжа нет. А что без пляжа там делать? Как там у вас теперь с водкой? Говорят, легче стало. Впрочем, я сим сейчас не интересуюсь...»

— Странное состояние,— прервал меня Александр Борисович.— Никогда такого не было. Дышать трудно, и чуть голова кружится.

За время нашей встречи он выкурил две полсигареты через мундштук.

— Виктор Платонович смолил почище вас, — сказал я.

— Гололед,— повторил Александр Борисович.— От метро пешком шел, и еще лифт у вас барахлит. Пешком поднимался...

Этот лифт угробил и мою мать, и еще трех пожилых людей на площадке, и я со своим инфарктом пешочком с шестого этажа шлепал в реанимацию: не дашь же санитаркам тащить себя на носилках через шесть пролетов...

— Как у вас сердце? — спросил я. Его лицо начинало мне не нравиться.

— Никаких плохих ощущений.

— А раньше что было с сердечком?

— Нет. И на пенсии недавно — четыре года как бездельничаю.

Я все-таки усадил его обратно на стул и посчитал пульс. Он показался мне нитевидным, хотя я толком не знаю, что за таким словом стоит. Удары считал по часам: тридцать секунд — сорок пульсаций.

— Оно у вас работает, как у космонавта,— сказал я, зная, как важны подобные комплименты, когда человеку становится плоховато.

— Да, это не сердце,— сказал он.— Дышать трудно. Странное ощущение...

— Идемте-ка в кухню. Посидите у дверей на балкон. Я балкон на зиму еще не забаррикадировал.

Мы пошли на кухню. Поддерживать себя за локоть Александр Борисович не дал и за стенку не придерживался, хотя шел неуверенно.

— Нашатырь хотите?

— Не знаю, странно это... Вызовите такси, пожалуйста. Домой поеду.

До такси дозвонился быстро, но пообещали только в течение двух часов: «Не занимайте телефон — позвонят в любую минуту».

Какая сволочь, гнида и падла выдумали эти «два часа»? Какая гнусность вокруг! Вот вам: десять лет не работает на шестой этаж лифт... И — бейся башкой в стену, ори, задыхайся от бессильной ненависти...— называется мелочи жизни. И смерти — добавлю не ради красного словца.

— Попробуемте-ка лечь,— сказал я.— Здесь простудитесь.

Балкон был засыпан снегом, сильно сквозило сырым холодом.

— Вам ни капельки не лучше?

— Нет.

Я дал ему понюхать нашатырь. Довольно настойчиво это сделал.

— Дошло?

— Да. Спасибо.

Я повел его назад в комнату. Но мою поддерживающую руку он вытерпел, только пока я помогал ему встать со стула, затем пошел самостоятельно. У дивана сказал:

— Ботинки новые. Вы уж простите, сидят туго, снимать не буду.

Когда лег:

— Лежать хуже.

И попытался сесть. Я снял с него галстук и расстегнул ворот рубашки.

— Все-таки сердце болит или нет?

— Нет.

Но он мне слишком уже не нравился. Главное — нет улучшения самочувствия и плохой цвет лица. Однако никаких жалоб на сердце и никакого заметного страха, а страх при всяком сердечном приступе всегда сильно обостряется. Даже руку к сердцу и вообще к груди не тянет.

Шла где-то двадцатая минута. Надо было решаться.

— Я вызываю неотложную,— сказал я.

Он послушно промолчал. И это тоже было плохо.

«03» ответила сразу, но минут десять — пятнадцать расспрашивала обо мне, моем больном и чем он раньше болел с детства. А я пятнадцать минут объяснял, что первый раз человека вижу, что ему семьдесят семь лет и ему очень странно плохо. Наконец пообещали.

Тут только я сообразил, что еще нет 17 часов и внизу работает литфондовская поликлиника. Набрал регистратуру и попросил послать ко мне терапевта — бегом, ибо у меня стало плохо гостю, которому под восемьдесят лет.

— Сердце?

— На сердце он не жалуется.

— Сейчас скажу.

Александр Борисович про такси и дом напоминать перестал, мои разговоры выслушивал равнодушно. И это испугало уже до трясуна в руках. Я подсел к нему и гладил по колену, повторяя: «Сейчас будет доктор, сейчас будет доктор...»

— А лежать все-таки хуже,— сказал он довольно отчетливо. Но дыхание делалось хриплым.

Я стащил с него пиджак со знаком ветерана-строителя на лацкане.

Врача не было.

Так прошло пять минут.

Я опять набрал номер нашей поликлиники.

— У терапевта пациент,— сказали из регистратуры.

Тут я выругался: «Пускай бросит все и бегом сюда! И сестру со шприцем!» И швырнул трубку.

Полное бессилие. Говорить Александр Борисович перестал, но глаза были открыты. Взгляд спокойный и успокаивающий меня. Дыхание со все более заметным хрипом в конце выдоха. Цвет лица землистый, и губы начали бледнеть. И проклятый лифт не работает. Но врачи-то об этом не знают. Если попробуют в него забраться, то застрянут.

И через каждую минуту я бросал Александра Борисовича одного на диване и бежал на балкон, смотрел вниз во двор, затем бежал на лестничную площадку и орал в гулкую пустоту узкого пролета: «Лифт не работает! Сюда! Сюда, выше!»

Затем возвращался к Александру Борисовичу.

— Стран-н-о-е со-с-то-я-ни-е... Никогда так... Никогда так...

Наконец вбежала Гита Яковлевна — наша врачиха. Я сидел на диване у изголовья Александра Борисовича и гладил его лоб. Глаза он закрыл.

— Все,— сказала Гита Яковлевна прямо с порога.

— Что «все»?

— Все, Виктор Викторович.

Вошла еще одна женщина в халате — я принял ее за сестру из поликлиники,— стала обламывать ампулы.

Гита велела вызвать реанимационную бригаду:

— Дозвонитесь, а говорить я буду сама. Но все это пустое.

— А массаж? И прочие ваши штуки? Минуту назад он разговаривал.

— А я вам говорю: «Все!»

Я набрал «03» и передал ей трубку.

— Суньте ему нитроглицерин, есть у вас? — сказала Гита и властно распорядилась по телефону о реанимационной бригаде.

Зубы у Александра Борисовича были сжаты. Я сунул ему по одной таблетке под нижнюю и верхнюю губу.

Незнакомая женщина, которая оказалась врачом неотложной помощи, накладывала жгут для укола, руки у нее тряслись.

— Кто у него родственники? — спросила Гита.

— Понятия не имею. Это детский друг Виктора Некрасова. Я вижу его первый раз в жизни.

— И последний,— сказала Гита.— Бедный вы, бедный, примите сами сердечное.

Через сколько времени приехали реаниматоры, я не засек. Он и она. В один голос спросили:

— Зачем нас вызвали, если тут все ясно?

— Для порядка,— сказала Гита.

— Кто он?

— Лучше познакомьтесь с хозяином квартиры,— сказала Гита.— А покойный — друг Виктора Некрасова, только вы про такого не слышали.

— Нет, слышала,— сказала молодая женщина-реаниматор.— Некрасов был хороший писатель, хотя я ничего его не читала.

— Тогда простите,— сказала Гита.

Ну что ж, Виктор Платонович, как видишь, тебя здесь знают и молодые, хотя и не читали ни одной твоей строки.



Реаниматоры уехали, дав мне успокаивающий коктейль; ушла в поликлинику продолжать прием Гита. Со мной и Александром Борисовичем осталась врач из неотложки. Ее звали Мариной. Она вызвала милицию и принялась оформлять бумаги.

Александр Борисович лежал на диване — спокойный, с закрытыми глазами, челюсть стала отвисать. Я потрогал его руку. Тело уже остывало.

— Надо бы подвязать,— сказал я врачихе.— И я, пожалуй, накрою его.

— Нельзя. До приезда милиции ничего нельзя трогать. Отсядьте. Какие у него документы?

Я обыскал пиджак. В бумажнике был паспорт и много разных удостоверений, включая участника Великой Отечественной войны. Была еще записная книжка и... нитроглицерин.

— От чего он умер?

— Острая сердечная недостаточность. Какие у вас красивые картинки висят. И вообще у вас очень уютно,— сказала врачиха.

Хорошенький уют, когда на твоем спальном месте лежит человек, который еще какие-то тридцать минут назад с тобой разговаривал о друге детства, эмигранте Вике Некрасове, и подарил тебе фотографию, где оба они молодые, наверное, тридцатилетние, сидят рядком и по какому-то поводу неистово хохочут.

Надписать фотографию Александр Борисович не успел. Надпись пришлось сделать мне: «А. Б. Воловик хотел подписать мне эту фотографию. Это было за 40 минут до его кончины. Пришел в 14.30 25 ноября 87 г. Умер в 17.00. (Хотел оставить мне «Зуавов» и «Маяк».). В. К.»

— Ох, писанины сколько... И вообще-то много, а случаи «смерть в чужой квартире» — особенно,— посетовала Марина.

Я закрыл форточку и сел читать «Зуава». Скажете: бесчувственный?

А я и сам не знаю, что со мной в данном случае было. Я не чувствовал рядом покойника. Самым тягостным, даже ужасным было представить себе родственников: как, кому, когда сообщать о случившемся? А вдруг жена сама сердечница? И жахнуть ей такое по телефону? Ушел человек, улизнул под благовидным предлогом от домашних предъюбилейных забот и хлопот и...

Так вот, чтобы не мучиться этими пока неразрешимыми проблемами, я и отвлекал себя чтением «Зуава» № 1. А в нем сочинение Шурки Воловика «Приключения и путешествия Фрикэ Мегирá»:

«На большой пассажирской пристани большого французского города Бордо топталась масса народу, около большого корабля. Корабль был трехмачтовый голет под названием «Республика», который должен был сейчас выйти в море по направлению к Южной Америке. На палубу голета взошел один мальчик, с двумя мужчинами. Фрикэ Мегирá, так звали мальчика, был француз из Парижа, который страшно любил. Он был брюнет с черными большими глазами. Другой был его дядя Андрэ Варон из Орлеана. Он был военный инженер. Третий был провансалец, старый морской волк Пьер де Гал, колоссального роста и сильный как бык. Корабль отчалил...

...Через несколько дней они переехали Магелланов пролив и очутились в Аргентине. Они в дилижансе ехали в Пампасах и высадились в городе Патагонесе и пешком отправились к реке Колорадо, у которой и остановились и раскинули палатку. Оставив на хозяйство Пьера, Фрикэ, Белюш и Андрэ пошли на охоту. Долго они шли между высокой травой, как вдруг услышали рев, и откуда ни возьмись на них прыгнул громадный ягуар-людоед. Фрикэ не растерялся и выстрелил в ягуара, но промахнулся, и ягуар, еще больше освирепевший, кинулся на Фрикэ, но Фрикэ бросил в открытую пасть ягуара свою винтовку. Пока ягуар грыз винтовку, Белюш выстрелил и убил ягуара наповал. Вдруг из высокой травы выскочили несколько индейцев, растатуированные, размахивающие томагавками и ружьями, и связали трех охотников по рукам и по ногам (продолжение следует). А. Воловик».

Здесь следует иллюстрация, на которой индейцы выскакивают из высокой травы, один из индейцев нацеливается кинжалом в зад стоящего на четвереньках француза. Подпись: «...из высокой травы выскочили индейцы... Рис. В. Некрасов».

Закончив оформление «Случая смерти в чужой квартире», Марина — думаю, с благой целью развлечь меня — принялась рассказывать истории почище, нежели у Фрикэ Мегирá. О том, например, как только что помер у нее сорокалетний мужчина, когда стало ему уже хорошо и блаженно после укола, а он тут взял да и помер. А вот еще у нее такой был случай... А вот еще этакий...

Я вытерпел около часа. Наконец поинтересовался:

— Где же милиция? А ежели здесь убийство произошло? Они так же вот поспешают?

— Приедут, приедут, не беспокойтесь,— сказала врачиха.— А вот мне... конечно, для проформы, но нам положено: вы с ним ничего не употребляли? — так ответила она вопросом на мой вопрос о милиции.

— Да что ж вы, сами не видите? Или у вас обоняние отсутствует? — спросил я.

— Да вы не обижайтесь,— сказала Марина.— Так уж нам нынче положено — спрашивать. Специальный пункт есть.

— Нет, алкоголя не было. Предлагал ему чай или кофе, но он попросил сперва немного поболтать. Не терпелось ему расспросить о дружке, которого я сравнительно недавно видел.

— А вот если б он кофе выпил,— сказала врачиха,— то, быть может, ничего бы и не случилось...

Господи! От чего же наша грешная жизнь зависит? (Потом, уже от вдовы Александра Борисовича, я узнал, что перед уходом из дому он выпил кофе. Так что в этом вопросе Марина оказалась не права.)

Милиция — майор-участковый из соседнего отделения прибыл через два с половиной часа.

К телу он даже не приблизился — хватило одного взгляда. И сразу сел писать свою милицейскую писанину.

К этому времени лицо покойного заметно изменилось, но выражение оставалось спокойным, а глаза не открылись.

Марина наконец подвязала ему бинтом челюсть и спеленала руки на груди. Затем они с милиционером обменялись какими-то документами, и она ушла. Я укрыл тело простыней.

К счастью, скоро вернулась Гита — ее рабочий день в поликлинике закончился. Я откровенно сказал, что боюсь звонить родственникам. Для врачихи это должно быть более привычным делом...

Трубку взяла жена. Сперва Гита сказала, что Александр Борисович отправлен в больницу в безнадежном состоянии, затем сказала правду. Потом трубку пришлось взять мне.

Я сказал, что да и что все вещи у меня. Женский голос сказал, что в заднем кармане брюк у него какое-то удостоверение. И здесь я ляпнул, что сразу же документ выну. А ведь раньше-то было сказано, что тело уже увезли и был даже назван морг судебно-медицинской экспертизы. Вероятно, вдова была в таком шоке и трансе, что ничего еще толком не могла сообразить и потому спрашивала и вообще говорила какую-то чушь.

Гита ушла домой к больному мужу, подписав милицейские протоколы. Я подписал их еще раньше.

26.11.87. 09.50 утра.

Жутковато, но что поделаешь? Сижу на том диване, где умер Шурка. Достаю из его старенького, дешевенького портфеля с тремя отделениями папку с фото и письмами. Надо торопиться: родственники непредсказуемы — могут отобрать документы. Четкий, размашистый почерк Некрасова:

«11.01.60. Дорогие Шура и Гиза! Нет, мы не негодяи, мы просто ленивы. А о вас мы всегда помним и любим по-прежнему. Только вот нет теперь предлогов для поездок в Ленинград. А вы почему-то забыли и Киев, и Корастышев, и вообще неньку-Украину. А жизнь идет помаленьку. Через неделю собираемся с мамой, как и в прошлом и в позапрошлом году, под Москву, в Малеевку — подышать лесным, зимним воздухом, посмотреть на снег, походить на лыжах, а заодно и поработать — там это куда продуктивнее получается, чем в Киеве.

Похвастаться объемом написанного в этом году никак не могу. Последняя небольшая вещь была напечатана в № 12 «Нового мира». Называется «Три встречи» — это о Валеге — в жизни, книге и кино. А сейчас кончил рассказ, начатый еще в... 1949 г. Увы, обратно про войну. Послал в «Новый мир». Ответа еще нет...»

По радио сей миг: «Министр иностранных дел Чехословакии Богуслав Хнеупек горячо приветствует предстоящее подписание соглашения по ракетам средней дальности...»

«...А в конце января должны выйти наконец отдельным изданием итальянские записки «с иллюстрациями и фотографиями автора». Ловите!

Вот такие-то дела... Крепко обнимаю. Мать шлет привет. Вика».

Майор-участковый сказал, когда я покрыл тело чистой и новой простыней:

— Положите старую. Эта пропадет.

— Чего ж я буду простыню жалеть?

— Когда приедут за телом, еще одну попросят.

— Ну и что?

— Так эти перевозчики простыни реквизируют — в морг без простыней берут.

— Ну и что? Что ж, я его на грязных тряпках из своего дома дам выносить?

— Ваше дело. Мое дело — предупредить.

И, уже проходя через переднюю мимо столика:

— И почему у вас здесь деньги валяются?

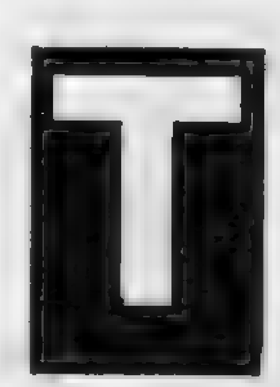
На столике лежало двадцать пять рублей. Там у меня всегда деньги лежат.

— Уберите-ка деньги отсюда. Валяются вот так. Пропадут, а потом на милицию катят.

— Хорошо. Уберу. Спасибо вам за все.

— Ну что вы, не за что! Сами не болейте!

— Спасибо.



Так все потом и было: попросили вторую простыню, чтобы положить на нее тело. Расстелили на полу, перенесли Александра Борисовича с дивана, завязали простыни узлами в головах и ногах. Очень заботливо продиктовали адрес похоронного магазина, который приписан к моргу: улица Достоевского, девять, возле Кузнечного рынка. Я записал. Предупредили еще, чтобы родственники, когда поедут в контору морга, не забыли свои паспорта. (Имя Достоевского тут к месту прозвучало!)

— Ты, Ваня, торшер сдвинь, чтобы ногами вперед развернуть,— сказал старший.

Шапки сняли оба, когда вошли.

Надели уже перед тем, как подхватили белый кокон.

За все такие трогательные любезности четвертной, убереженный мильтоном, перекочевал в их карман. Такая подачка, судя по новому взрыву информационных и утешительных слов, была для них сюрпризом.

Носилки ждали на площадке лестницы.

— Лифт не работает?

— Да. Уж извините.

— Ничего-ничего! Ваня, лямки туже затягивай, чтобы он не съехал.

«6.11.65. Дорогой Шура! Только что вернулся из Москвы. Пропихивал в «Новый мир» свой новый «opus». Рассказы. Вроде как о Камчатке и в то же время не только о ней. Все делается со скрипом. Все всего боятся, осторожничают... Первый этап — редакцию — вроде как преодолел. Но впереди еще множество Сцилл и Харибд... Пока не получишь в руки экземпляр журнала, ни во что не веришь.

Такое время...

А мост твой видал на фотографии. Великолепен... Но почему вы не делаете таких, как в Сан-Франциско?

Обнимаю и целую. Привет большой от меня и мамы Гизе. Твой Вика».

Из книги В. П. Некрасова «Маленькая печальная повесть»: «Сегодня воскресенье, а в среду 12 сентября минет ровно десять лет с того дня, когда, обнявшись и слегка пустив слезу, мы — я, жена и собачка Джулька — сели в Борисполе в самолет и через три часа оказались в Цюрихе.

Так, на шестьдесят четвертом году у меня, шестьдесят первом у жены и четвертом у Джульки — началась новая, совсем непохожая на прожитую, жизнь.

Благословляю ли я этот день 12 сентября 1974 года? Да, благословляю. Мне нужна свобода, и тут я ее обрел. Скучаю ли я по дому, по прошлому? Да, скучаю. И очень.

Выяснилось, что самое важное в жизни — это друзья. Особенно, когда их лишаешься. Для когонибудь деньги, карьера, слава, для меня — друзья... Те, тех лет, сложных, тяжелых и возвышенных. Те, с кем столько прожито, пережито, прохожено по всяким Военно-Осетинским дорогам, Ингурским тропам, донским степям в невеселые дни отступления, по Сивцевым Вражкам, Дворцовым набережным, киевским паркам, с кем столько часов проведено в накуренных чертежках, в окопах полного и неполного профиля, на кухнях и в забегаловках, и выпито Бог знает сколько бочек всякой дряни. И их, друзей, все меньше и меньше, и о каждом из них, ушедшем и оставшемся, вспоминаешь с такой теплотой, с такой любовью. И так мне их не хватает.

Может быть, самое большое преступление за шестьдесят семь лет, совершенное в моей стране, это дьявольски задуманное и осуществленное разобщение людей. Возможно, это началось с коммуналок, не знаю, но, так или иначе, человеческое общение сведено к тому, что, втиснутые в прокрустово ложе запретов и страха, люди, даже любящие друг друга, боясь за свои конечности, пресекают это общение. Из трусости, из осторожности, из боязни за детей, причин миллион. Один из самых моих близких друзей, еще с юных, восторженных лет, не только не пришел прощаться, но даже не позвонил. Ближайшая приятельница категорически запретила ей звонить. Еще один друг, тоже близкий, хотя и послевоенных лет, прощаясь и глотая слезы, сказал:

— Не пиши, все равно отвечать не буду...

И это «отвечать не буду», эта рана до сих не заживает. Я внял его просьбе, не писал, но втайне ждал, надеялся, что он как-нибудь, надравшись в День Победы, возьмет открытку, напишет на ней под левой под мышкой: «Поздравляю!» и без обратного адреса опустит где-нибудь на вокзале. За десять лет ни разу не надрался... Во всяком случае, не написал, не опустил... А все это соль, соль на мою рану...

И маленькая моя повесть печальна потому, что если между двумя из моих друзей воздвигнута берлинская стена, то двоих других из этой троицы разделяет только Атлантический океан... Нет, не только океан, а нечто куда более глубокое, значительное и серьезное, что и побудило меня назвать свою маленькую повесть печальной. Аминь».

28.11.87 г. 14.10. Не отпускает меня милиция. Сей миг звонил участковый. Ему надо номер свидетельства о смерти и диагноз, который поставили гражданину Воловкову.

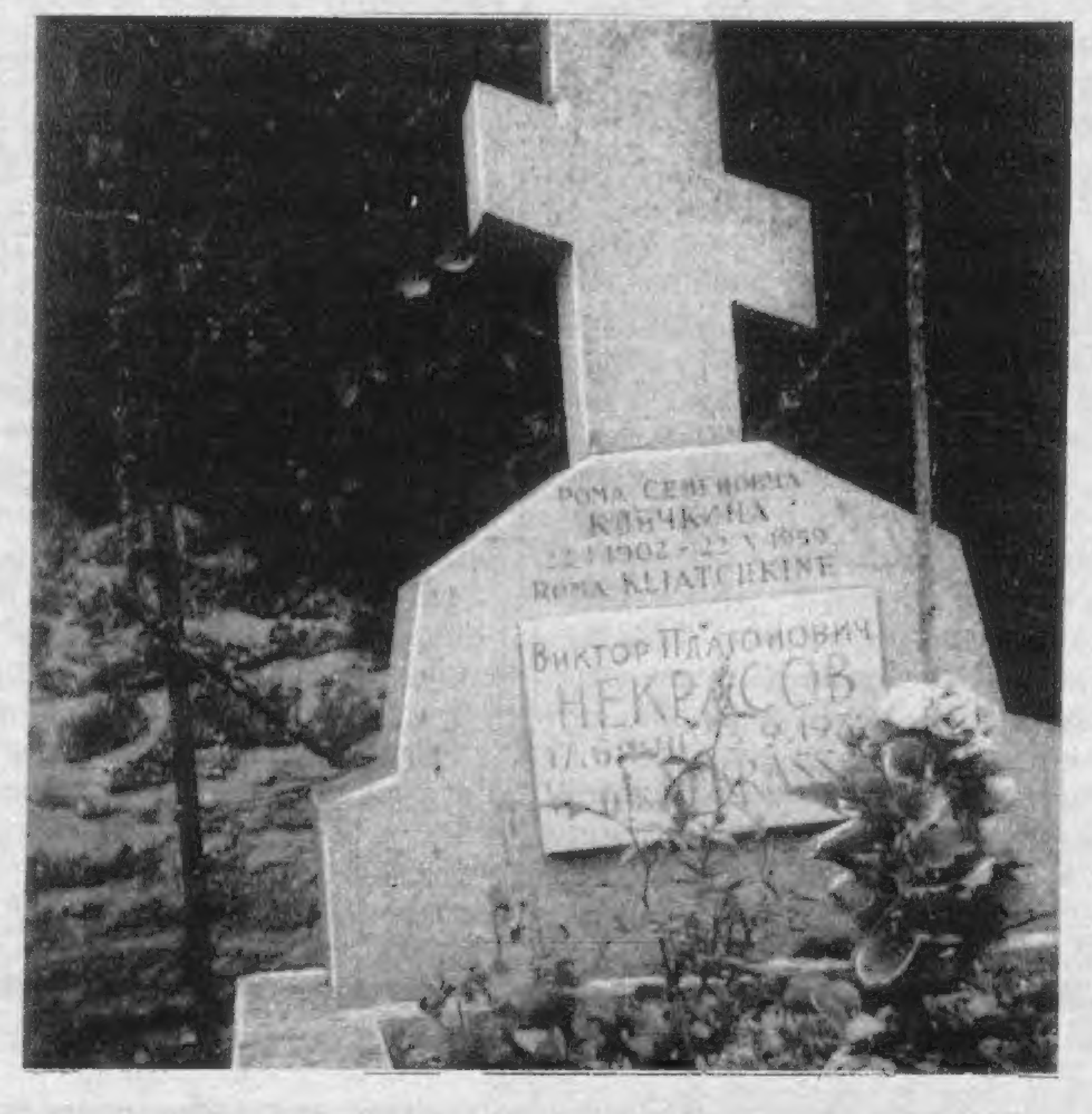
— Гражданину Воловику. Официального диагноза у меня нет. Документы получили и оформляли родственники. У них и спрашивайте.

— Вы у них были?

— Да. Был. Отвозил вещи, они получили справку об отсутствии телесных повреждений.
— Это у меня в акте есть. Мне номер свидетельства. И диагноз. У вас их телефон есть?
— Есть, но нельзя ли потянуть резину? Хотя бы после кремации позвоните! Это же опять удар и потрясение для его родных.
— А когда похороны?
— Кремация в понедельник после полудня.
Он подумал, вздохнул:
— Не получается. Мне надо документы сдать до понедельника.
Явно врал — отделаться поскорее хочет.
Я продиктовал телефон. Он заверил, что постарается «осторожнее».
Из журнала «Зуав», который «из патриотических побуждений» переименован в «Маяк». 1923 год. Рассказ «Медуза»:
«Миноносец все приближался. Вдруг раздался страшный взрыв и миноносец, объятый пламенем, быстро начал тонуть. Вот что случилось на миноносце. Там заведующим порохового отдела был французский пьяница Франц Герман. Он не мог равнодушно смотреть на бутылку с водкой. В ту ночь, которая была перед случившейся катастрофой, он напился пьяный. После этого он завалился спать. Проснувшись, он, еще пьяный, пошел осматривать свой отдел. Закурил папиросу и пошел. Проходя мимо мешков с порохом, он выкинул свою папиросу, еще горящую, на мешок с порохом. Через минуту ужасный взрыв взорвал весь трюм вместе с машинным отделением. Каким-то чудом этот матрос спасся и попал в плен к экипажу французской подводной лодки. Его перенесли в каюту и положили на койку. Около него был поставлен матрос. Теперь, когда времени было много, решили посмотреть, почему не плыла лодка. Оказалось, что были вывинчены гайки. Дело из-за этого не остановилось, и скоро лодка была в исправности. Между тем в каюте, где лежал больной, происходило следующее. Больной, все время лежавший тихо, вдруг начал бредить. Он говорил разную чепуху, и матрос на это не обращал внимания. Но одно место очень потревожило его:
— Вот дураки... слепые... ха-ха-ха... искать... а жилет на что?..
Это заинтересовало матроса. Он бросился к капитану. По дороге столкнулся с другим матросом, Феликсом Терьер. Узнавши в чем дело, он заволновался и начал уговаривать не ходить к капитану, что больной все врет; но матрос не слушался и привел капитана. Больного всего обыскали и нашли в жилете очень важные удостоверения и карту расположений австрийских судов и мин. В этот же день лодка должна была тронуться. (Продолжение следует.) В. Некрасов»
29.11.87. 18.00. Позвонила Гиза — Гизель Марковна, теперь уже вдова Александра Борисовича Воловика, уточнила время кремации: завтра, в понедельник, 30-го, в 15.15. Большой зал.
Конечно, странновато все это, нереально как-то. Но за все на этом свете надо платить. За литературу — втридорога.
30.11.87. В 08.30 заказал такси для поездки в крематорий. Цветы для Александра Борисовича — белые и розовые хризантемы — уже стоят напротив меня и скромно, потупленно молчат. Хризантемам через шесть часов предстоит сгореть.
Хотя говорят, в крематории не только выдирают покойникам золотые зубы, но и цветочки совершают торговый оборот из гроба к шикарным вестибюлям метрополитена.
Читаю фантасмагорию Некрасова о его встрече со Сталиным. Как он с другом всех народов два дня водку пьет. И до того Сталин допился (насколько мне известно, Сталин вообще водку не пил — В. К.), что понес всю еврейскую часть человечества. И тут Вика Некрасов решил рвануть на Голгофу за угнетенный народ:
«— Эйнштейн, что ли, торгаш и хапуга?
— Эйнштейн не знаю, а Каганович да!
Тут как раз вошел Никита с двумя бутылками водки.
— Скажи, Никита, Лазарь вор?
Никита опешил. Поставил бутылки. Лихорадочно стал одну из них раскупоривать.
— Вор или не вор, говори!
Никита, точно рыба, выброшенная на берег, хватал ртом воздух. А перед ним стоял, расставив ноги, Сталин, весь красный, даже шея и грудь покраснели, со сжатыми кулаками, и казалось, что вот-вот размахнется и ударит его.
— Говори!
Но Никита не в силах был выдавить ни слова.
А я... До сих пор не могу понять, как это получилось, нашло какое-то затемнение, но я выхватил у Никиты бутылку, молниеносно разлил по стаканам и сказал, упершись пьяными глазами в Сталина:
— Я предлагаю выпить за командира пятой роты лейтенанта Фарбера, товарищ Сталин. Слыхали о таком?
— Фарбера? Какого такого Фарбера? Не знаю я никакого Фарбера.
— И напрасно! Командир пятой роты, 1047-го полка, 284-й дивизии. Выпили?
Сталин взглянул на меня так, что я понял — сейчас конец. Потянулся к телефонной трубке.
— За такое знаешь что? — сказал он, не сводя с меня глаз, страшно медленно, вколачивая каждое слово, точно гвоздь.
— Не знаешь? Так вот, узнаешь.
Он набрал номер.
— Берию ко мне,— и швырнул трубку.
Все! Я понял, что все.
Воцарилась пауза. Никто не двигался. Ни Сталин, ни Хрущев, ни я. Застыли.
В ушах стучало. Все быстрее и быстрее.
Сталин, стиснув протянутый мною стакан так, что пальцы даже побелели, стал приближаться ко мне. Тихой, беззвучной, какой-то крадущейся походкой.
И смотрел, не отрываясь смотрел. В глазах его вспыхнули маленькие, красные огоньки, как у кошки ночью.
За спиной моей тихо открылась и закрылась дверь. Я понял, что это конец.
Залпом выпил стакан водки. В глазах пошли круги. В ушах зазвенело. Все сильнее и сильнее.
Я упал. Стакан покатился по полу. Последнее, что я услышал сквозь все усиливающийся звон в ушах:
— Жиденький паренек... А я еще на брудершафт хотел.
Больше я ничего не слышал, я умер».


арбер... Фарбер... Фарбер...— сквозь всю жизнь пронес Некрасов фамилию этого детского дружка.
Я успел спросить у Александра Борисовича о его судьбе.
— Шурка?
— Да.
— Он умер два года назад.
— В одной эмигрантской книге Некрасов вспоминает Фарбера в разговоре со Сталиным. Читали?
— Нет, конечно. Зато вы можете прочитать рассказ Шурки в четвертом номере «Маяка». Да не торопитесь. Я вам их оставлю, эти раритеты...
«НА КРАЮ ПОЛЯ. Два мальчика сидели около поля. Один из них был деревенский; другой был из города. И оба были друзьями уже 3 дня».
«Когда ты приедешь к нам, говорил городской, я тебе покажу прелестные дома, дворцы и церкви; ты увидишь огромные улицы, которые вечером так хорошо освещены, что видно, как днем».
«А я, возразил другой, я тебе покажу леса, где собирают люди орехи, огромные сосновые и еловые шишки, и леса, где темно как ночью».
«А чему ты меня научишь?»
«Я тебе покажу, как гонять овец на пастбище, как делают сыр и масло из молока наших прелестных коров, и как пашут нашими огромными быками, я тебе объясню, когда надо сеять рожь, пшеницу, ячмень; как надо вязать снопы, как выдавливают виноград, как трепать лен и коноплю. Затем я научу плести корзины из прутьев».
«Все это хорошо знать, возразил мальчик из города, но я тебя научу другому, что может быть еще лучше. Я научу тебя читать!»
Pape — Carpantur. Перевод с франц. А. Фарбер».

Кладбище Сен-Женевьев-дю Буа. Здесь, в чужом отечестве и в чужой семейной могиле, последний приют русского писателя Виктора Некрасова.



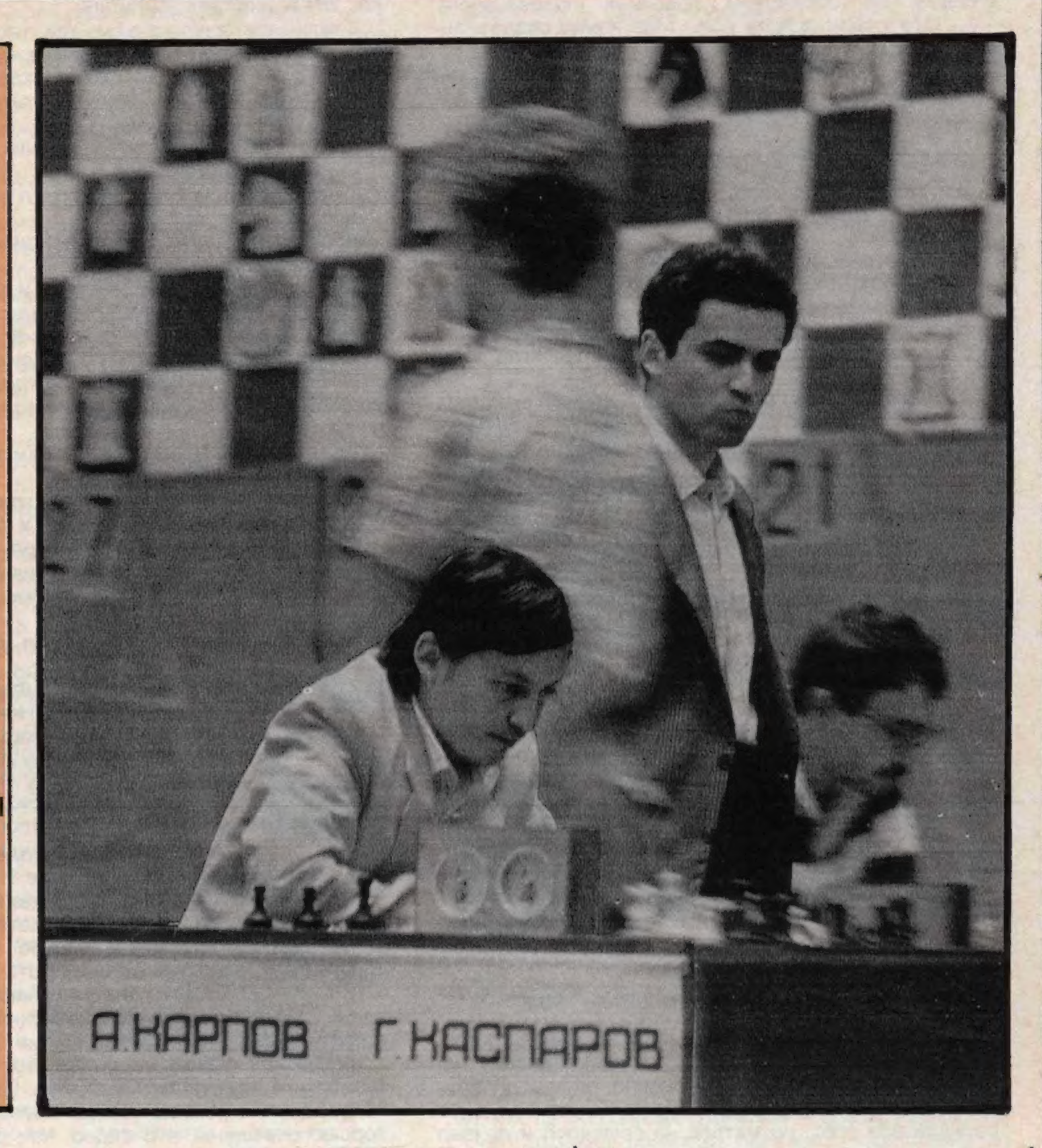
«Умер-шмумер, был бы здоров».
Одна из самых одесских сентенций великого черноморского города.
Тираны умерли — не все, правда, но главные убийцы все же лижут в преисподней раскаленную сковородку. А я, отряхнувшись, у своих друзей, в любимой Женеве, под прошлогодней сосенкой дописываю последние страницы. Весна, март. Лопнули первые почки на каштанах. В Швейцарии это считается наступлением весны. Специальный человек следит за специальным каштаном в университетском парке, и лопнула почка, выглянул крохотный пятилаповый листочек, и сразу же в газету — началось! Дописываю... Напротив меня, под березкой, вылезли из-под земли четыре крохотных крокуса, три лиловых, один белый. Утром только выглянули. Сейчас уже распустились. И пчелка прилетела. За работу, товарищи!
Что-то затянул я на этот раз. Прошли лето, осень, зима. И много событий произошло за это время. И в мире, и в моем парижском Ванве...
В кафе «Сентраль», где я по утрам пью кофе с круасаном и листаю «Фигаро», бросили бомбу. Кто — до сих пор неизвестно. Никто серьезно не пострадал, кого-то поцарапало стеклом, хозяйку слегка контузило. Много об этом говорили, больше месяца кафе было закрыто, сейчас опять хожу, пью кофе, из «Фигаро» узнаю, что в мире по-прежнему плохо, никакого просвета. Только молодежи хорошо. Ухаживают по-прежнему. Сын Бельмондо — за хорошенькой монакской принцессой Стефани,— траур по матери, принцессе Грасс, кончился; сын Росселлини и Ингрид Бергман — за старшей, Каролин. А Альберт, наследник монакского престола, не расстается с дочкой Грегори Пека. (Это я все узнаю, нет, не из «Фигаро», оно посолиднее, а из веселой, приличными французами презираемой «Франс-диманш» — я ее не презираю.)
Сразу сунул шоферу четвертак, чтобы он обождал возле крематория до конца процедуры. Этот ли четвертак тому виною или конечный пункт нашей поездки, но таксист разговорился. И я, проносясь сквозь ноябрьскую, ленинградскую мразь и ленинградские лужи, узнал, что бабушка шефа дожила до 96 лет. «А померла она у меня замечательно. Приехал к ней, просит бабуля кагору привезти — религиозный праздник какой-то был. Ну, ясное дело, кагора нигде нет. Я четвертинку у ребят в парке достал, ей привез. Она говорит, что, значит, так господь велит, закурила, а она в блокаду махорку жевать научилась, а после войны уже и по-настоящему курить. Иди, говорит, чайку поставь. Ну, я пошел, а у газовой плитки дверца не затворяется плотно; я минут десять с дверцей провозился, возвращаюсь — а бабуля уже холодная, под иконами сидит, и сигарета дымится... И зачем жить-то, ежели все равно помрешь? Вот потом, когда я икону вскрыл, так понял, почему бабушка к другим иконостасам нас подпускала, а к этой нет...»
Так вот мы с таксером мило побеседовали, и я вылез возле официальных елочек, породу которых не знаю, но ненавижу их, где бы они ни росли.
Таксер остался ждать наедине с мыслями о своей бабушке.
Обрыскал все крематорские предбанники четыре раза — нет моих Воловиков. Ну, думаю, неужто что-то напутал — стыд и срам — не оправдаешься: убил старика и побоялся прибыть на похороны.
Пошел к администратору, тот говорит, что родственники еще не прибыли. Оказывается, так как тело Александра Борисовича не в их морозилке, а в судебно-медицинском морге, то родственники на автобусе должны еще за ним заезжать.
Пошел гулять с букетом хризантем вдоль глухого, без окон фасада крематория. Площадка сложена из бетонных плит, тонн по пять каждая, уложены плохо. На иную ступишь — она под тобой ёкнет, колыхнется, и кажется, в преисподнюю проваливаешься. А звук такой раздается — чем-то дальний артиллерийский гул напоминает. Блокада, конечно...
Прохаживался там еще один бедолага. Я ему говорю, что, мол, как бы нам самим в их холодильный подпол раньше планового срока не провалиться. Тот меня успокоил. Это, говорит, капитальное заведение немцы строили, и все тут под большим секретом,— технология у них совершенно сложная. Сейчас, говорит, ведутся переговоры, чтобы второй крематорий строить; так его опять будут в полной секретности и только своими собственными руками немцы строить...
Очередной бред и Кафка.
Кабы они строили, так пятитонные плиты под ногами не ёкали...
Ну-с, смотрел я на пригородный пейзаж — там далеко видно с крематорной возвышенности, но думалось что-то вовсе не возвышенное. А именно, что я таксеру слово дал вернуться не позже 15.15, а график, судя по всему, явно сбит, и что же мне теперь делать?
Через полчасика появились родственники. Давно я так никому не радовался, как этому скорбному семейству.

ШАХМАТЫ

ТУРНИР ОКОНЧЕН. СПОР ПРОДОЛЖАЕТСЯ...

Александр РОШАЛЬ

Фото Бориса КАУФМАНА



55-й чемпионат СССР собрал не только на сцене исключительный по силе состав... Нынче, правда, немодно называть имена партийных и государственных руководителей или даже «обыкновенных знаменитостей» в иных областях человеческой деятельности, занявших попросту места в партере. Но, поверьте на слово, такого внимания из зрительного зала наши шахматы еще не удостаивались, оно обнадеживает, и его — простите уж «своекорыстие» — хочется использовать. К чему шахматисты и готовятся, собираясь вынести свои внутренние проблемы на высший уровень возможных решений.

Есть у советских шахмат проблемы и внешние. Замыкаются они на Международной шахматной федерации (ФИДЕ) и с недавних пор на Международной гроссмейстерской ассоциации, лидеры которых отнюдь не дружат между собой. Похоже, и в Москве не нашли общего языка президент ФИДЕ Флоренсио Кампоманес и административный директор Ассоциации Бессел Кок. Но на чемпионат СССР их глаза — темные прищуренные у филиппинского политика и светлые широко раскрывшиеся у бельгийского бизнесмена — смотрели одинаково восхищенно. Вот это организация, вот это турнир!

«Что надо сделать, чтобы наш чемпионат всегда был таким?» — вопрос из анкеты «Созвездия», спецвыпуска журнала «64-Шахматное обозрение» на этом турнире. Опубликованы разные и интересные ответы. Редакторской рукой вычеркнул я лишь те дополнения, какие, по установившемуся мнению, рискнет напечатать разве что «Огонек»... Так вот, говорили некоторые гроссмейстеры без тени улыбки, надо сначала рубль превратить в конвертируемую валюту. И впрямь, когда еще им (вместе с тренерами) предоставят в гостинице «Международная» весь показательный сервис — притом ни государство, ни «Совинцентр» не попросят ни рубля, ни доллара?! До сих пор здесь жили так одни персонально и ненадолго приглашенные к нам знатные и богатые гости.

И все же будем справедливы: на сцене шахматисты часто расплачивались достаточно щедро — ценными идеями, красивой и боевой игрой, спортивной интригой, захватившей зрителей. Это дорогого стоит. Имею в виду не 5 рублей, которые запросили за билет (а билетов к концу все равно не хватало, и пришлось приставлять к огромным окнам демонстрационные доски, чтобы любители шахмат, столпившись возле фигуры покровителя торговли Меркурия, могли с улицы следить за передвижениями фигур Каспарова и Карпова в их решающих партиях). Большая шахматная игра стоит громадных усилий, если хотите, здоровья, и восстановительные — разумеется, валютные — бассейны его не всегда компенсируют. И сильному везет, пока у него есть силы.

Кого и почему считаю я героями минувшего турнира? Видный гроссмейстер и друг Смыслова, который младше 67-летнего экс-чемпиона лет на пятнадцать, с горечью воскликнул: «Ну, зачем он ввязался в это безнадежное дело?! Не рекорды надо ставить, а думать о своем здоровье и о престиже нашего старшего поколения». Это сказано было после ничьей и трех рядовых поражений Смыслова. А в последующих турах Василий Васильевич при одном поражении одержал три победы, проведя, кстати, и самую изящную комбинацию чемпионата.

Талант 19-летнего Василия Иванчука калибра чемпионского. А он ограничил себя программой-минимум — получением гроссмейстерского звания — и выполнил «норму» без видимых перегрузок. Его слегка пожурили за серию коротких ничьих, да спохватились: достигнет еще завидных высот и оттуда, как бывало с иными, припомнит критикам их недальновидные речи. Тем паче что В. Иванчук быстро «исправился», поделил с В. Эйнгорном 5—6-е места, и мы уже опять поем ему величальную с тихим рефреном: «кандидат в олимпийскую сборную» (где будет с кого брать любой пример). Я бы посоветовал брать хороший пример с Белявского, Юсупова, Салова. Эту тройку вижу поистине боевой.

Добровольцы из шахматной элиты, готовые играть в отечественных чемпионатах чуть не каждую партию на победу, серьезные люди с храбрыми и нерасчетливыми характерами. «Безумству храбрых...» Александр Белявский, прошлогодний чемпион страны, шел и теперь в головной группе две трети пути, но пожелал быть непременно впереди и остался... восьмым. Артур Юсупов, неудачи которого после успеха в претендентском матче занимали не одних лишь его новых поклонников, упорно поднимался и, разминувшись с Белявским, вышел на Салова. Драматическая случилась встреча! У Салова лишняя фигура и, что называется, вагон времени. Но он какой-то вяловатый сегодня, тогда как волевой Юсупов за свою минуту (ходов на восемь) успевает еще и прихлебнуть из неизменной чашечки, не отрывая взгляда от неприятельского короля. Не выдержал Салов и оступился в шаге от победы, точно как перед тем в шаге от ничьей против чемпиона мира.

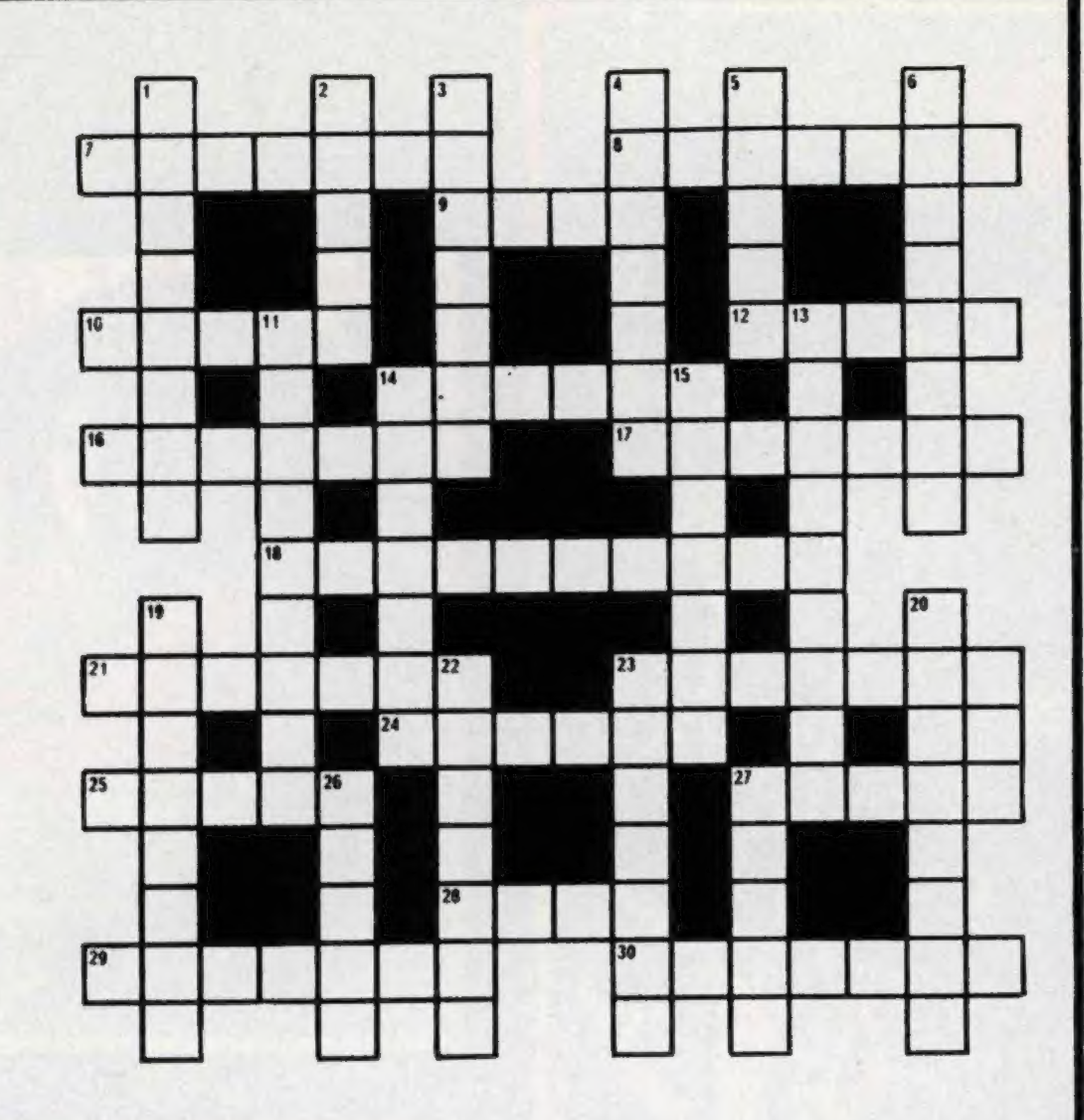
Мысленно прибавив упущенные в борьбе с конкурентами полтора очка к итоговому результату Салова (10 очков, 3—4-е места с Юсуповым), вы увидите, на что способен этот 24-летний ленинградский интеллигент. Но шахматная борьба никак не элементарное арифметическое действие, тут множество слагаемых. Сила есть — ума не надо? «Обратная теорема» далеко не всегда верна. В любом спорте тонкому уму требуется физическая сила. А ее-то у Валерия Салова, когда я повстречал его после горьких разочарований, оставалось всего на удары кулаком по стенке и жесткую самокритику: «Вот чертов характер! Говорил же себе: сделай, как другие, несколько коротких ничьих, отдохни на длинной дистанции». Нет, не сумел заставить себя отказаться от ежедневной борьбы, занял ею все дни доигрывания, имея тринадцать (!) отложенных позиций, не отдыхал даже в ту пару выходных, что были отпущены на 25 турнирных суток. А ведь в какой-то момент признавался, что отложенных опасается уже пуще проигрыша. В пресс-центре поставили своеобразный эксперимент, по ходу которого многие весьма опытные корреспонденты не сумели припомнить, кто выигрывал последние всесоюзные чемпионаты. Велико же было невнимание к нашему главному внутреннему турниру! Не может никто пока назвать и нынешнего чемпиона СССР. Но совсем по другой причине. Да, впереди, как и предсказывалось всеми, Гарри Каспаров и Анатолий Карпов. Только они прошли дистанцию без поражения, далеко опередили остальных, и, набрав по 11,5 очка, разделили первое место. По условиям соревнования должен состояться матч за звание чемпиона СССР (уже пятый в «новейшей» шахматной истории матч между Карповым и Каспаровым).

Однако на торжественном закрытии превосходно проведенного в «Совинцентре» первенства страны возник спор по поводу регламента дополнительного поединка. Как-то получилось, что экс-чемпион мира, а за ним и чемпион мира обращались в сторону Салова. А он, еще недавно входивший в тренерскую группу Карпова, но в отдельных вопросах не расходившийся с Каспаровым, сидел теперь с невозмутимым и независимым видом. Хорошо сидел. Пусть, мол, сами решают свои конфликты...

Негоже «вещать под руку» гроссмейстерам. А пока остается выразить уважение и сочувствие главному арбитру 55-го чемпионата СССР М. Ботвиннику, вынужденному исполнять роль судьи и в сложившейся неприятной ситуации.

По предложению судейской коллегии вопрос о звании чемпиона страны передан на рассмотрение расширенного заседания президиума Шахматной федерации СССР — «ввиду непримиримых разногласий между победителями...»

КРОССВОРД



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Горный агрегат для добычи полезных ископаемых. 8. Рабочий, специалист по обработке, сборке металлических деталей. 9. Спортивное сооружение, дорожка для гоночных состязаний. 10. Хвойный лес. 12. Хищная морская рыба. 14. Птица семейства соколиных. 16. Тригонометрическая функция. 17. Высокий певческий голос. 18. Народный артист СССР, выступающий во МХАТе. 21. Советская фигуристка, трижды чемпионка Олимпийских игр. 23. Национальный герой Никарагуа. 24. Самая яркая звезда в северном полушарии. 25. Декоративное растение, цветок. 27. Русский народный струнный инструмент. 28. Река в Казахстане. 29. Белорусский первопечатник и просветитель. 30. Химический элемент, металл.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Русский писатель XIX века. 2. Горнопромышленное предприятие. 3. Внимание, возбуждаемое значительным, привлекательным. 4. Представитель одного из северных народов. 5. Фильм, снятый кинорежиссером, народным артистом СССР Г. В. Александровым. 6. Способ ведения мяча, шайбы спортсменом. 11. Рассказ М. Горького. 13. Итальянский живописец XVI—XVII веков. 14. Киноактриса, народная артистка СССР. 15. Картина Н. А. Ярошенко. 19. Город в Донецкой области. 20. Ископаемый уголь. 22. Опера Г. И. Майбороды. 23. Город во Владимирской области. 26. Арабская республика в Азии. 27. Приток Днепра.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, НАПЕЧАТАННЫЙ В № 34

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Тухачевский. 8. Рапорт. 9. Иридий. 11. Алмаз. 14. Мальцев. 15. Пифагор. 18. Палаш. 20. Фактура. 21. «Даная». 22. Романистика. 23. Горох. 25. Фюзеляж. 26. Арысь. 30. Водород. 31. Монблан. 32. Цвейг. 34. Чирков. 35. Анохин. 36. Бартоломмео.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Туполев. 2. Вахта. 3. Эскиз. 4. Дивизия. 6. Сальта. 7. Цитата. 10. Галактионов. 12. Местоимение. 13. «Богатырская». 16. Парашют. 17. Третьяк. 19. Штрих. 21. Драва. 24. Омоним. 27. Рябчик. 28. Домкрат. 29. Полонез. 32. «Цветы». 33. Гамма.

НЕТ ПРОБЛЕМ? Рисунок Николая Молчанова

КООП „ТРИШКИН КАФТАН"

КООП „ДЕМЬЯНОВА УХА"

МН.

Александр МИДЛЕР

О ПОЛЬЗЕ АНЕКДОТОВ, РАССКАЗАННЫХ НА ДОСКАХ

Можно ли превратить анекдот в живопись? И станет ли это искусством?

Я занимаюсь философией искусства, но ответов на эти вопросы у меня нет, сама же Сима Васильева вместо ответа сказала так:

— Я пытаюсь рисовать то, чего нет в действительности. С детства привыкла жить в выдуманном собой мире и очень хотела бы рассказывать как бы сказку о нашем сегодняшнем времени, очень драматическую, даже трагическую и — комическую...

Что, по сути, делает Сима?

Современную мифологию. Это что такое?

Нет в гастрономах таких колоссальных крабов, которые рисует Сима. Да и никаких крабов нет. И окороков тоже. Многие зрители улыбаются, у них уменьшается напряжение, у кого оно есть, по поводу пищевого дефицита, говорят психологи искусства. Отсюда и название — «Психодрама у гастронома». (Напряжение-то, может, уменьшается, но крабов все равно нет.)

Нет у Симы подобного дома, уютного, теплого и светлого, где пятеро детей, и вообще сегодня это нетипично: двоих поднять и то проблема. Симин друг — социолог и поэт Леонид Седов — перевел стихи английской поэтессы Нэнси Хейс, которые дополнительно подтолкнули Симу нарисовать такую почти уже не существующую в нашей жизни «Избу»:

Ах, хочется жить в своем скромном домишке,
Где коврик для кошки и норка для мышки;
Чтоб ходики тикали тихо в углу
И ящик с дровами стоял на полу.

Чего только у нее и у многих из нас еще нет!

Французское посольство приобрело Симину дощечку с сюжетом, посвященным выставке Ива Сен-Лорана в нашей стране: люди и манекены смотрят друг на друга в зеркальном отражении, наглядно демонстрируя извечное несовпадение между идеалом и реальностью. Смешно и грустно.

В сущности, Сима рисует людей в их усилиях удержаться на плаву в жизненной трясине. Она очень точна: отец — часовой мастер. Мать — преподаватель литературы, дед — писатель. Итак, очень профессионально — при том, что она получила образование географа, Сима создает мифологию человеческой участи.

Человек отличается от всех других существ способностью смеяться. Вопрос, однако, над чем и как: убийственный черный юмор ли, грозная сатира, едкое издевательство. А вот, например, сострадательная ирония Высоцкого: она была обращена к человеческим качествам, которые он разделял с теми, о ком пел, а потому — при всей бритвенной остроте — не обижала. (Идиоты — не в счет.) Сима в живописи работает в каком-то смысле в ключе Высоцкого. И даже словечко «как бы» — пароль современного мифотворчества — у них обоюдолюбимое; вспомним у него:

На краю Земли, где небо ясное
Как бы вроде даже сходит за кордон,
На горе стояло здание ужасное,
Издаля напоминавшее ООН...

При этом и Кащей, и коллектив нечистой силы, и Баба-Яга у Высоцкого «по-своему несчастны», и Иван «по-своему несчастный был дурак».

Вот так и у Симы все мы «по-своему несчастны». Нелепы и комичны из-за промежуточности нашего состояния: уже не деревенские, но еще не впитавшие в себя высокую мировую культуру.

Мы маргиналы.

Это что за фрукт?

Маргинал — человек, который уже не является, повторим, «селóм», но еще не стал в полном объеме городским в том смысле, что еще не впитал культуру городской цивилизации в высших ее достижениях, он уже грамотный, но еще далеко не образованный, он уже не дитя, но еще и не взрослый в том смысле, в каком взрослый человек должен спокойно и мудро с обширным знанием и глубоким пониманием оценивать себя в окружающей жизни.

Маргиналис — латинское — находящийся на краю и, таким образом, пограничный человек в итоге сидит — психологически и всячески — по меньшей мере между двух стульев.

Практически все то, над чем Сима смеется в персонажах, она замечает и в себе и улыбается. Ее работы — это еще и остроумная автопародия.

Работы Васильевой — это всегда праздник фигур и лиц. Праздник, с которым не всегда встретишься в реальной жизни. Мало из того, что она рисует, осталось в нашей будничной суете. Но это есть в детском нашем восприятии. Теперь, пожалуй, я понимаю, почему Сима работает по памяти.

Скажем, съездила на птичий рынок, запомнила мужчину, у которого на спине было объявление: «Сен-бернар — самец три года». Одновременно на нее повлияли слова «птичный рынок», которые сказал кто-то рядом. Такой «птичный» и нарисовала — из ощущения.

Когда художник рисует «из детства», у него нет ничего второстепенного, нет фона, все — главное. Роскошь детского восприятия состоит в том, что, зазывая нас стать участниками своего «Фестиваля» и своей «Демонстрации», покупателями в «Гастрономе» и на «Рынке», ехать на «Эскалаторе» и расслабляться на «Пляже», Сима втягивает нас туда, как шут в балаган.

Назад — к лубочному мировосприятию и вперед — к трагикомическому, это Симино нежелание видеть серые цвета жизни закручивает тусклое, обыденное существование в искрящийся на скорости аттракцион, где все движется и сама карусель является таким же ярким живым существом, как и те, кого она несет. Необычно то, что такое детское восприятие сочетается с иронией.

Глядя на Симины доски, я вспомнил французский фантастический рассказ про то, как в экипаже звездолетчиков неожиданно обнаружился один форменный недотепа. Когда группа благополучно вернулась, космонавты узнали, что с ними был знаменитый клоун. Лишь тогда стало ясно: то, что он вызывал у них смех, и было его задачей. Без этого они в длительном межзвездном путешествии не выжили бы. От людей такого рода в высокой степени зависит сегодня наш общий «межзвездный полет».







Контраст между интеллигентной, изящной, милой, кроткой внешностью Симы Васильевой и тем, что она рисует, поражает. Искусство Симы — уже известные в мире разрисованные ею дощечки,— кажется, сводится к анекдоту. Заметим, его не следует путать с непристойностью: в переводе с французского анекдот — это краткая шуточная притча. Ему повезло — он попал к рассказчице, которая подает его именно притчей.

(См. в номере материал А. Мидлера «О пользе анекдотов, рассказанных на досках».)





ISSN 0131—0097

Индекс 70663 Цена номера 40 коп.